

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ.

Повесть.

Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили два молодые сослуживца, Аркадий Иванович Нефедевич и Вася Шумков... Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем, хоть бы, например, для того только чтоб не сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц; а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предлагаемой повести, единственно для того, чтоб не походить на них (то есть, как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего самолюбия), решаете начать прямо с действия. Кончив такое предисловие, он начинает.

Вечером, накануне Нового года, часу в шестом, Шумков воротился домой. Аркадий Иванович, который лежал на кровати проснулся и вполглаза посмотрел на своего приятеля. Он увидал, что тот был в своей превосходнейшей партикулярной паре и в чистой манишке. Это, разумеется, его поразило. "Куда бы ходить таким образом Васе? да и не обедал он дома!" Шумков между тем зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул, два раза прошелся по комнате и, наконец, совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую было стал набивать в уголку, возле печки. Аркадия Ивановича взял смех про себя.

- Вася, полно хитрить! - сказал он.

- Аркаша, не спишь?

- Право, наверное не могу сказать; кажется мне, что не сплю.

- Ах, Аркаша! здравствуй, голубчик! Ну, брат! ну, брат!.. Ты не знаешь, что я скажу тебе!

- Решительно не знаю; подойди-ка сюда.

Вася, как будто ждал того, немедленно подошел, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. Тот как-то преловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя и начал, как говорится, "душить" жертвочку, что, казалось, доставляло неимоверное удовольствие веселому Аркадию Ивановичу.

- Попался! - закричал он, - попался!

- Аркаша, Аркаша, что ты делаешь? Пусти, ради бога, пусти, я фрак замараю!..

- Нужды нет; зачем тебе фрак? зачем ты такой легковверный, что сам в руки даешься? Говори, куда ты ходил, где обедал?

- Аркаша, ради бога, пусти!

- Где обедал?

- Да про это-то я и хочу рассказать.

- Так рассказывай.

- Да ты прежде пусти.

- Так вот нет же, не пущу, пока не расскажешь!

- Аркаша, Аркаша! да понимаешь ли ты, что ведь нельзя, никак невозможно! - кричал слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля, - ведь есть такие материи!..

- Какие материи?..

- Да такие, что вот о которых начнешь рассказывать в таком положении, так теряешь достоинство; никак нельзя; выйдет смешно - а тут дело совсем не смешное, а важное.

- И ну его, к важному! вот еще выдумал! Ты мне рассказывай так, чтоб я смеяться хотел, вот как рассказывай; а важного я не хочу; а то какой же ты будешь приятель? вот ты мне скажи, какой же ты будешь приятель? а?

- Аркаша, ей-богу, нельзя!

- И слышать не хочу...

- Ну, Аркаша! - начал Вася, лежа поперек кровати и стараясь всеми силами придать как можно более важности словам своим. - Аркаша! я, пожалуй, скажу; только...

- Ну что!..

- Ну, я помолвил жениться!

Аркадий Иванович, не говоря более праздного слова, взял молча Васю на руки, как ребенка, несмотря на то что Вася был не совсем коротенький, но довольно длинный, только худой, и преловко начал его носить из угла в угол по комнате, показывая вид, что его убаюкивает.

- А вот я тебя, жених, спеленаю, - приговаривал он. Но, увидя, что Вася лежит на его руках, не шелохнется и не говорит более ни слова, тотчас одумался и взял в соображение, что шутки, видно, далеко зашли; он поставил его среди комнаты и самым искренним, дружеским образом облобызал его в щеку.

- Вася, не сердись?

- Аркаша, послушай...

- Ну, для Нового года.

- Да я-то ничего; да зачем же ты сам такой сумасшедший, повеса такой? Сколько я раз тебе говорил: Аркаша, ей-богу, не остро, совсем не остро!

- Ну, да не сердись?

- Да я ничего; на кого я сержусь когда! Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты!

- Да как огорчил? каким образом?

- Я шел к тебе как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою душу, рассказать тебе мое счастье...

- Да какое же счастье? что ж ты не говоришь?...

- Ну, да я женюсь-то! - отвечал с досадою Вася, потому что действительно немного был взбешен.

- Ты! ты женишься! так и вправду? - закричал благим матом Аркаша. Нет, нет... да что ж это? и говорит так, и слезы текут!.. Вася, Васюк ты мой, сыночек мой, полно! Да вправду, что ль? - И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями.

- Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло? - сказал Вася. - Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным, и вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство... Ты понимаешь, Аркаша, - продолжал Вася полусмеясь, - ведь это было в комическом виде: ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела... Вот еще б ты спросил меня: как зовут? Вот клянусь, скорей убил бы меня, а я бы тебе не ответил.

- Да, Вася, что же ты молчал! да ты бы мне все раньше сказал, я бы и не стал

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
шалить, – закричал Аркадий Иванович в истинном отчаянии.

– Ну, полно же, полно! я ведь так это... Ведь ты знаешь, отчего это все, – оттого, что у меня доброе сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принести удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя... Право, Аркаша, я тебя так люблю, что, не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем!

Аркадий Иванович, который необыкновенно был чувствителен, и смеялся, и плакал, слушая Васю. Вася тоже. Оба снова бросились в объятия и позабыли о бывшем.

– Как же, как же это? расскажи мне все, Вася! Я, брат, извини меня, я поражен, совсем поражен; вот точно громом сразило, ей-богу! Да нет же, брат, нет, ты выдумал, ей-богу, выдумал, ты наврал! – закричал Аркадий Иванович и даже с неподдельным сомнением взглянул в лицо Васи, но, видя в нем блестящее подтверждение неопровержимого намерения жениться как можно скорее, бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга, так что стены дрожали.

– Вася, садись сюда! – закричал он, усевшись наконец на кровати.

– Уж я, братец, право, не знаю, как и начать, с чего!

Оба в радостном волнении смотрели друг на друга.

– Кто она, Вася?

– Артемьевы!.. – произнес Вася расслабленным от счастья голосом.

– Нет?

– Ну, да я тебе уши прожужжал об них, потом замолк, а ты ничего и не заметил. Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя; да боялся, боялся говорить! Думал, что все расстроится, а я ведь влюблен, Аркаша! Боже мой, боже мой! Видишь ли, вот какая история, – начал он, непрерывно останавливаясь от волнения, – у ней был жених, еще год назад, да вдруг его командировали куда-то; я и знал его – такой, право, бог с ним! Ну, вот, он и не пишет совсем, запал. Ждут, ждут; что бы это значило?.. Вдруг он, четыре месяца назад, приезжает женатый и к ним ни ногой. Грубо! подло! да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная, а я и влюбись в нее... да я и давно, всегда был влюблен! Вот стал утешать, ходил, ходил... ну, и я, право, не знаю, как это все произошло, только и она меня полюбила; неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все – ну! что люблю ее – одним словом, все!.. "Я вас сама любить готова, Василий Петрович, да я бедная девушка, не насмейтесь надо мной; я и любить-то никого не смею". Ну, брат, понимаешь! понимаешь?.. Мы тут с ней на слове и помолвились; я думал-думал, думал-думал; говорю: как сказать маменьке? Она говорит: трудно, подождите немножко; она боится; теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам; сама плачет. Я, ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизанька перед ней на колени, я тоже... ну, и благословила. Аркаша, Аркаша! голубчик ты мой! будем жить вместе. Нет! я с тобой ни за что не расстанусь.

– Вася, как я ни смотрю на тебя, а не верю, ей-богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне все что-то кажется... Послушай, как же это ты женишься?.. Как же я не знал, а? Право, Вася, я, уже признаюсь тебе, я сам, брат, думал жениться; а уж как теперь ты женишься, так уж все равно! Ну, будь счастлив, будь счастлив!..

– Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе... – сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате. – Не правда ли, не правда ли? ведь ты чувствуешь тоже? Мы будем жить бедно, конечно, но счастливы будем: и ведь это не химера, наше счастье-то ведь не из книжки сказано: ведь это на деле счастливы мы будем!..

– Вася, Вася, послушай!

– Что? – сказал Вася, остановясь перед Аркадием Ивановичем.

– Мне пришла мысль; право, я как-то боюсь и сказать тебе!.. Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жить будешь? Я, знаешь, я в восторге, что ты

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
женишься, конечно, в восторге и владеть собой не могу, но – чем ты жить будешь?  
а?

– Ах, боже, боже мой! какой ты, Аркаша! – сказал Вася, в глубоком удивлении смотря на Нефедевича. – Да что ты в самом деле? Даже старуха, и та двух минут не подумала, когда я ей представил все ясно. Ты спроси, чем они жили? Ведь пятьсот рублей в год на троих: ведь всего-то пенсиону после покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за которого в школу платят из тех же денег, – ведь вот как живут! Ведь это только мы капиталисты с тобой! А у меня, поди-ка ты, в иной год, в хороший, даже семьсот наберется.

– Послушай, Вася; ты меня извини; я, ей-богу, я так ведь, я все только думаю, как бы это не расстроить, – каких же семьсот? только триста...

– Триста!.. А Юлиан Мастакович? забыл?

– Юлиан Мастакович! да ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного жалованья, где всякий рубль как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек, я его уважаю, понимаю его, даром что он так высоко стоит, и, ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит, тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника – но ведь согласись сам, Вася... Послушай еще: я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк, я готов тебе уступить, – не без восторга заключил Нефедевич, – но вдруг, боже сохрани! ты не понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет – ну да, наконец, мало ли что может случиться! Ведь Юлиан-то Мастакович был да сплыл, Вася...

– Послушай, Аркаша, ведь этак, пожалуй, над нами сейчас потолок провалится...

– Ну, конечно, конечно... я ведь ничего...

– Нет, послушай меня, ты выслушай – видишь что: каким он образом может со мною расстаться... Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я все исполняю рачительно; ведь он такой добрый, ведь он мне, Аркаша, ведь он мне сегодня дал пятьдесят рублей серебром!

– Неужели, Вася? так тебе награждение?

– Какое награждение! из своего кармана. Говорит: уж ты, брат, пятый месяц денег не получал; хочешь, возьми; спасибо, говорит, тебе, спасибо, доволен... ей-богу! не даром же ты мне, говорит, работаешь – право! так и сказал. У меня слезы полились, Аркаша. Господи боже!

– Послушай, Вася, а ты дописал те бумаги?..

– Нет... еще не дописал.

– Ва...синька! ангел мой! что ты сделал?

– Послушай, Аркадий, ничего, еще два дня сроку, успею...

– Как же ты это так не писал?..

– Ну вот, ну вот! ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болит! Ну, что ж? ты меня всегда этак убиваешь! Так и закричит: а-а-а!!! Да ты рассуждай; ну, что ж такое? ну, кончу, ей-богу, кончу...

– Что если не кончишь? – закричал Аркадий, вскочив. – А он же тебе сегодня дал награждение! Ты же тут женишься... Ай-ай-ай!

– Ничего, ничего, – закричал Шумков, – я сейчас же и сажусь, сию минуту сажусь; ничего!

– Как это ты манкировал, Васютка?

– Ах, Аркаша! ну, мог ли я усидеть? такой ли я был? Да я в канцелярии-то едва

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
сидел; ведь я сердца сносить не мог... Ах! ах! теперь ночь просижу, и завтра  
ночь просижу, да послезавтра еще, и – dokonчу!..

- Много осталось?

- Не мешай, ради бога, не мешай, замолчи...

Аркадий Иванович на цыпочках подошел к кровати и уселся; потом вдруг хотел было  
встать, но потом опять принужден был сесть, вспомнив, что помешать может, хотя и  
сидеть не мог от волнения: видно было, что его совсем перевернуло известие и  
первый восторг еще не успел выкипеть в нем. Он взглянул на Шумкова, тот взглянул  
на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмутив брови (как  
будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы), уставился глазами в  
бумаги. Казалось, и он тоже еще не пересилил своего волнения, переменял перья,  
вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и  
отказывалась двигаться.

- Аркаша! я им говорил об тебе, – закричал он вдруг, как будто только что  
вспомнил.

- Да? – закричал Аркадий, – а я только спросить хотел; ну!

- Ну! ах да, я тебе после все расскажу! Вот, ей-богу, сам виноват, а совсем из  
ума вышло, что не хотел ничего говорить, покамест не напишу четырех листов; да  
вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу: все об вас  
вспоминаю... – Вася улыбнулся.

Настало молчание.

- Фу! какое скверное перо! – закричал Шумков, ударив в досаде им по столу. Он  
взялся за другое.

- Вася! послушай! одно слово...

- Ну! поскорей и в последний раз.

- Много тебе осталось?

- Ах, брат!.. – Вася так поморщился, как будто ничего в свете не было ужаснее и  
убийственнее такого вопроса. – Много, ужасно много!

- Знаешь, у меня была идея...

- Что?

- Да нет, уж нет, пиши.

- Ну, что? что?

- Теперь седьмой час, Васюк!

Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе, но, однако ж, все-таки  
несколько с робостью, не зная, как примет он это.

- Ну, что ж? – сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и  
даже побледнев от ожидания.

- Знаешь что?

- Ради бога, что?

- Знаешь что? Ты взволнован, ты много не наработаешь... Пстой, пстой, пстой,  
пстой – вижу, вижу – слушай! – заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с  
постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения. –  
Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли?

- Аркаша! Аркаша! – закричал Вася, вскочив с кресел. – Я просижу всю ночь,  
ей-богу, просижу!

- Ну, да, да! Ты к утру только заснешь...

- Не засну, ни за что не засну..

- Нет, нельзя, нельзя; конечно, заснешь, в пять часов засни. В восемь я тебя бужу. Завтра праздник; ты садишься и строчишь целый день... Потом ночь и - да много ль осталось тебе?..

- Да вот, вот!..

Вася, дрожа от восторга и от ожидания, показал тетрадку.

- Вот!..

- Послушай, брат, ведь это немного...

- Дорогой мой, еще там есть, - сказал Вася, робко-робко смотря на Нефедевича, как будто от него зависело разрешение, идти или нет.

- Сколько?

- Два... листочка...

- Ну, что ж? ну, послушай! ведь кончить успеем, ей-богу, успеем!

- Аркаша!

- Вася! послушай! Теперь под Новый год все по семействам собираются, мы с тобой только бездомные, сирые... у! Васенька!..

Нефедевич облапил Басю и стиснул в своих львиных объятиях...

- Аркадий, решено!

- Васюк, я только об этом сказать хотел. Видишь, Васюк, косолапый ты мой! слушай! слушай! ведь...

Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него.

- Ну! - проговорил он наконец.

- Представь им сегодня меня!

- Аркадий! идем туда чай пить! Знаешь что? знаешь что? даже до Нового года не посидим, раньше уйдем, - закричал Вася в истинном вдохновенье.

- То есть два часа, ни больше ни меньше!..

- И потом разлука до тех пор, пока не dokonчу!..

- Васюк!..

- Аркадий!

В три минуты Аркадий был по-парадному. Вася только почистился, затем что и не снимал своей пары: с таким рвением присел он за дело.

Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого.

Путь лежал с Петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о благополучии все более и более счастливого Васи. Вася семенил более мелким шагом, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) знает читатель (Вася был немного кривобок), вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более способствовал к глубокому умилению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту и которого Вася, уж разумеется, всячески был достоин. Аркадию Ивановичу даже захотелось заплакать от счастья; но он удержался.

- Куда, куда, Вася? здесь ближе пройдем! - вскричал он, видя, что Вася норовит повернуть к Вознесенскому.

- Молчи, Аркаша, молчи...

- Право, ближе, Вася.

- Аркаша! Знаешь ли что? - начал Вася таинственно, замирающим от радости голосом. - Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек Лизаньке...

- Что ж такое?

- Здесь, брат, на углу мадам Леру, чудесный магазин!

- А, ну!

- Чепчик, душечка, чепчик; сегодня я видел такой чепчоночек миленький; я спрашивал: фасон, говорят, *Maçon Lescaut*<sup>1</sup> называется - чудо! ленты серизовые<sup>2</sup>, и если недорого... Аркаша, да хоть бы и дорого!..

- Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася! идем!..

Они побежали и через две минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же, при первом взгляде на своих покупателей, сделалась так же весела и счастлива, как они сами, даже счастливее, если можно сказать. Вася готов был расцеловать мадам Леру от восторга...

- Аркаша! - сказал он вполголоса, бросив обыкновенный взгляд на все прекрасное и великое, стоявшее на деревянных столбиках на огромном столе магазина. - Чудеса! что это такое? что это? вот этот, например, бонбончик<sup>3</sup>, видишь? - прошептал Вася, показывая один миленький крайний чепчик, но вовсе не тот, который купить хотел, потому что уже издалика нагляделся и впился глазами в другую, знаменитый, настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-нибудь возьмет да украдет или будто сам чепчик, именно для того чтоб не доставаться Васе, улетит с своего места на воздух.

- Вот, - сказал Аркадий Иванович, указав на один, - вот, по-моему, лучший.

- Ну, Аркаша! это даже делает честь тебе; я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус, - сказал Вася, плутовски схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей, - прелесть твой чепчик, но поди-ка сюда!

- Где же, брат, лучше?

- Смотри-ка сюда!

- Этот? - сказал Аркадий с сомнением.

Но когда Вася, не в силах более выдержать, сорвал его с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захрустели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая все свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во все время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полною улыбкою одобрения, так что все в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке, разом проговорило - да! вы угадали и достойны счастья, которое вас ожидает.

- Ведь кокетничал, кокетничал в уединении! - закричал Вася, перенеся всю любовь свою на миленький чепчик. - Нарочно прятался, плутишка, голубчик мой! - И он поцеловал его, то есть воздух, который его окружал, потому что боялся дотронуться до своей драгоценности.

- Так скрывает себя истинная заслуга и добродетель, - прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав фразу из одной остроумной газеты, которую читал поутру. - Ну, Вася, что же?

- Виват, Аркаша! да ты и остришь сегодня, ты сделаешь фурор, как они говорят, между женщинами, предрекаю тебе. Мадам Леру, мадам Леру!

- Что прикажете?

- Голубушка, мадам Леру!

Мадам Леру взглянула на Аркадия Ивановича и снисходительно улыбнулась.

- Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту... Позвольте поцеловать вас... - и Вася поцеловал магазинщицу.

Решительно, нужно было призвать на минуту все достоинство, чтоб не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врожденную, неподдельную любезность и грацию, с которою мадам Леру приняла восторг Васи. Она извинила его, и как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае! Неужели же можно было рассердиться на Васю?

- Мадам Леру, сколько цена?

- Это пять рублей серебром, - отвечала она, оправившись, с новой улыбкою.

- А этот, мадам Леру, - сказал Аркадий Иванович, указав на свой выбор.

- Этот восемь рублей серебром.

- Ну, позвольте! ну, позвольте! ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее, милее, который из них более походит на вас?

- Тот богаче, но ваш выбор - *c'est plus coquet*.

- Ну, так его и берем!

Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой, и, казалось, бумага с завернутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде, без чепчика. Вася взял все это бережно, чуть дыша, раскланялся с мадам Леру, что-то еще сказал ей очень любезное и вышел из магазина.

- Я вив°р, Аркаша, я рожден быть вив°ром! - кричал Вася, хохоча, заливаясь неслышным, мелким, нервическим смехом и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременном покушении измять его драгоценнейший чепчик!

- Послушай, Аркадий, послушай! - начал он минуту спустя, и что-то торжественно, что-то донельзя любящее зазвенело в настрое его голоса. Аркадий, я так счастлив, так счастлив!..

- Васенька! как я-то счастлив, голубчик мой!

- Нет, Аркаша, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю; но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце так полно, так полно! Аркаша! Я недостойн этого счастья! Я слышу, я чувствую это. За что мне, - говорил он голосом, полным заглушенных рыданий, - что я сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я! меня любит такая девушка, меня... но ты сам ее увидишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания, теперь чин у меня и независимый доход - жалованье. Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть. Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый; он со мною редко говорит; подошел: "Ну, что, Вася (ей-богу, так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а?" (Сам смеется.)

"Так и так, говорю, ваше превосходительство, дело есть, да тут же ободрился и говорю: - и повеселюсь, может быть, ваше превосходительство", ей-богу, сказал.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Он мне тут денег дал, потом еще сказал мне два слова. Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли, а он тоже, кажется, тронут был, потрепал меня по плечу да говорит: "Чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь.."

Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже отер кулаком слезинку.

- И еще, еще... - продолжал Вася. - Я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий... Аркадий! Ты так счастливишь меня дружбой своею, без тебя я бы не жил на свете, - нет, нет, не говори ничего, Аркаша! Дай мне пожать тебе руку, дай по... благо... дар... ить тебя!.. - Вася опять не закончил.

Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу и почти над ушами их раздалось визгливое "падь-падь-пади!" - то оба, испуганные и взволнованные, добежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому. Он извинил излишнюю благодарности Васи разве только исключительностию настоящей минуты. Самому же ему было досадно. Он чувствовал, что он до сих пор так мало сделал для Васи! Ему даже стыдно стало за себя, когда Вася начал благодарить его за такую малость! Но еще целая жизнь была впереди, и Аркадий Иванович вздохнул свободнее...

Решительно, их совсем перестали ждать! Доказательство - что уж сидели за чаем! А право, иногда стар-человек прозорливее молодежи, да еще какой молодежи! Ведь Лизанька-то пресерьезно уверяла, что не будет; "не будет, маменька; уж сердце чувствует, что не будет"; а маменька все говорила, что ее сердце, напротив, чувствует, что непременно будет, что не усидит, что прибежит, что и занятый-то служебных теперь нет у него, что и под Новый-то год! Лизанька, и отворяя, не ждала совсем - глазам не верила, и встретила их запыхавшись, с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной птички, вся заалев, зарумянившись, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Боже мой, какой сюрприз! какое радостное "ах!" вылетело из ее губок! "Обманщик! Голубчик ты мой!" - вскричала она, обвив шею Васи... Но представьте все удивление ее, весь ее стыд внезапный: прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял, немного потерявшись, Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами, даже очень неловок, даже однажды случилось, что... Но это потом. Однако ж войдите и в его положение: смешного тут нет ничего; он стоит в передней, в калошах, в шинели, в ушатой шапке, которую поспешил было сдернуть, весь пребезобразно обмотанный желтым вязаным прескверным шарфом, еще для большего эффекта завязанным сзади. Все это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут Вася, досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася! "Вот, - кричит он, - Лизанька, вот тебе мой Аркадий! Каков? Вот мой лучший друг, обними его, поцелуй его, Лизанька, наперед поцелуй, узнаешь потом лучше, сама расцелуешь..." Ну что? ну что, я спрашиваю, было делать Аркадию Ивановичу? А он еще размотал всего половину шарфа! Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи; она, конечно, означает доброе сердце, но... неловко, нехорошо!

Наконец оба вошли. Старушка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Ивановичем; она так много слышала, она... Но она не закончила. Радостное "ах!", звонко раздавшееся в комнате, остановило ее на полфразе. Боже мой! Лизанька стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, пренаивно сложив свои ручки и улыбаясь, улыбаясь так... Боже мой, да зачем это у madame Леру не было еще лучшего чепчика!

Ах, боже мой, да где ж вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон! Где же вы сыщете лучше? Я говорю серьезно! Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюбленных. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амурчика-чепчика! Ну, взгляните... Но нет, нет, мои пени напрасны; они уже согласились все со мною; это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства; я готов им простить... Да зато посмотрите... вы уж извините, господа, я все об этом чепчике: тюлевый, легонький, широкая серизовая лента, покрытая кружевом, идет между тульею и рюшем и сзади две ленты, широкие, длинные; они будут падать немного ниже затылка, на шею... Нужно только и весь чепчик немного надеть на затылок; ну, посмотрите; ну, я вас спрошу после этого!.. Да вы, я вижу, не смотрите!.. Вам, кажется, все равно! Вы загляделись в другую сторону... Вы

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) смотрите, как две крупные-крупные, словно перлы, слезинки накалились в один миг в черных как смоль глазах, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение madame Леру... И опять мне досадно: ведь почти не за чепчик были эти две слезинки!.. Нет! по-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее! Я, признаюсь, господа, все за чепчик!

Уселись - Вася с Лизанькой, а старушка с Аркадием Ивановичем; начали разговор, и Аркадий Иванович вполне поддержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мастаковиче, его благодетеле. Да так умно, так умно заговорил, что разговор, право, не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мастаковича, имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и старушка была очарована, истинно очарована: она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону и там сказала ему, что друг его превосходнейший, любезнейший молодой человек и, главное, такой серьезный, солидный молодой человек. Вася чуть не захохотал от блаженства. Он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели! Потом старушка мигнула Васе и сказала, чтоб он вышел за нею тихонько и осторожно в другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизаньки: она, конечно от избытка сердца, изменила ей и вздумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизанька Васе к Новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком: на одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал, и так похоже, так хорошо! На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходно и весьма похоже отделанный. Я уж не говорю о восторге Васи. Между тем и в зале не прошло даром время. Лизанька прямо подошла к Аркадию Ивановичу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался наконец, что дело идет о том же драгоценнейшем Васе. Лизанька даже была глубоко растрогана: она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что, право, она, Лизанька, не может не благодарить его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович полюбит и ее хоть вполнину так, как любит Васю. Потом она стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье, изъяснила некоторые опасения насчет особенной пылкости его характера, насчет несовершенного знания людей и практической жизни, сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним, хранить и лелеять судьбу его и что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе.

- Мы будем втроем как один человек! - вскричала она в пренаивном восторге.

Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать, но Вася объявил наотрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал то же самое. Опросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело, вверенное Юлианом Мастаковичем Васе, спешное, нужное, ужасное, которое нужно представить послезавтра утром, а что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, как услышала об этом, а Лизанька просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого; он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой.

Немедленно оба взапуски начали поверять друг другу свои впечатления, только что очутились на улице. Да тому так и следовало быть: Аркадий Иванович был влюблен, насмерть влюблен в Лизаньку! И кому ж это лучше поверить, как не самому счастливицу Васе? Он так и сделал: он не посовестился и тотчас же признался Васе во всем. Вася ужасно смеялся и страшно был рад, даже заметил, что это вовсе не лишнее и что теперь они будут еще больше друзьями. "Ты угадал меня, Вася, - сказал Аркадий Иванович, - да! я люблю ее так, как тебя; это будет и мой ангел, так же как твой, затем что и на меня ваше счастье прольется, и меня пригреет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася; в ее руках будет счастье мое; пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе, дружба к ней; вы у меня нераздельны теперь; только у меня будут два такие существа, как ты, вместо одного..." Аркадий замолчал от избытка чувств; а Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил; теперь же тотчас пустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные! "Как я буду хранить вас обоих, лелеять вас, заговорил он опять. - Во-первых, я,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до единого, а во-вторых, Вася, надобно похлопотать и о будущем. Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять, так чтоб и ей, и тебе, и мне были каморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. Три... нет, две комнаты, нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил, денег достанет; чего! я как взглянул в ее глазки, так тотчас расчел, что достанет. Все для нее! Ух, как будем работать! Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей двадцать пять за квартиру. Квартира, брат, все! Хорошие комнаты... да тут и человек весел и мечтания радужные! А во-вторых, Лизанька будет наш общий кассир: ни копейки лишней! Чтоб этак я теперь в трактир побежал! да за кого ты меня принимаешь? ни за что! А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить, у! как работать, как волю землю пахать!.. Ну, представь себе, - и голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия, - вдруг этак совсем неожиданно целковых тридцать иль двадцать пять на голову!.. Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, булочки какие-нибудь! Она мне непременно должна связать шарф; смотри, какой скверный у меня: желтый, поганый, наделал он мне сегодня беды! Да и ты, Вася, хорош: представляешь, а я в хомуте стою... да не в том вовсе дело! А вот, видишь ли: я все серебро беру на себя! я вам ведь обязан сделать подарочек - это честь, это мое самолюбие!.. А ведь наградные мои не уйдут: Скороходову, что ли, их отдадут? небось не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных, ножей хороших - не серебряных ножей, а отличных ножей, и жилетку, то есть жилетку-то себе: я ведь шафером буду! Только уж ты теперь держись у меня, уж держись, уж я над тобой, брат, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду с палкой стоять, замучаю на работе: кончай! кончай, брат, скорее! и потом опять на вечер, и потом оба счастливы; в лото пустимся!.. вечера сидеть будем - у, хорошо! фу, черт! как досадно, что не могу тебе помочь. Так бы взял и все бы, все бы писал за тебя... Зачем это у нас не одинаковый почерк?"

- Да! - ответил Вася. - Да! нужно спешить. Я думаю, теперь часов одиннадцать будет; нужно спешить... За работу! - И, проговорив это, Вася, который все время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излишние дружеских чувств и, одним словом, оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. Казалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледенила его пылавшую голову; казалось, все сердце его сжалось.

Аркадий Иванович даже стал беспокоиться; на ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделялся словцом-другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. "Да что с тобой, Вася? - закричал он наконец, едва догоняя его. - Неужели ты так беспокоишься?" "Ах, брат, полно болтать!" - ответил Вася даже с досадою. "Не унывай, Вася, полно, - прервал Аркадий, - да я видывал, что ты и гораздо больше в меньший срок писывал... чего тебе! у тебя просто талант! В крайнем случае можно даже ускорить перо: ведь не литографировать же на прописи будут. Успеешь!.. вот разве только ты взволнован теперь, рассеян, так работа тяжелее пойдет..." Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой.

Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих, втихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи... Какой-то страх нашел на него... "что с ним? - сказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, на беспокойство, выказавшееся в каждом движении. - У него и рука дрожит... фу ты, право! да не посоветовать ли ему заснуть часа два; хоть бы он переспал свое раздражение". Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия и, тотчас же потупившись, схватился опять за перо.

- Послушай, Вася, - начал вдруг Аркадий Иванович, - не лучше ль было бы тебе переспать немножко? Смотри, ты совсем в лихорадке...

Вася с досадой, даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал.

- Послушай, Вася, что ты над собой делаешь?..

Вася тотчас одумался.

- Не выпить ли чайку, Аркаша? - сказал он.

- Как так? зачем?

- Силы придаст. Я спать не хочу, уж я спать не буду! Я все буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжелое перешло бы.

- Лихо, брат Вася, чудесно! именно так; я сам хотел предложить. Но я дивлюсь, как мне самому не пришло в голову. Только знаешь ли что? Мавра не встанет, ни за что не проснется...

- Да...

- Вздор, ничего! - закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. - Я сам самовар поставлю. Вперво'й, что ли, мне?..

Аркадий Иванович побежал в кухню и пустился хлопотать с самоваром; Вася покамест писал. Аркадий Иванович оделся и сбегал сверх того в булочную, затем, чтоб Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился. Вася все был рассеян.

- Вот, - сказал он наконец, как будто одумавшись, - нужно завтра пойти поздравлять...

- Тебе вовсе не нужно.

- Нет, брат, нельзя, - сказал Вася.

- Да я за тебя у всех распишусь... чего тебе! ты завтра работай. Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы. А то на что ты завтра будешь похож? Я бы тебя ровно в восемь часов разбудил...

- Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься? - сказал Вася, полусоглашаясь.

- Да чего же лучше? так делают все!..

- Право, боюсь...

- Да чего же, чего?

- Оно, знаешь, у других ничего, а Юлиан Мастакович - он, Аркаша, мой благодетель; ну, как заметит, что чужая рука...

- Заметит! Ну, какой ты, право, Васюк! ну, как он может заметить?.. Да ведь я, знаешь, твое имя ужасно как похоже подписываю и завиток такой же делаю, ей-богу. Полно; что ты! кому тут заметить?..

Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан... Потом он сомнительно покачал головой.

- Вася, голубчик! ах, кабы нам удалось! Вася, да что с тобой? Ты меня просто пугаешь! Знаешь, я теперь и не лягу, Вася, не засну. Покажи мне, много ль осталось тебе?

Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось и язык осекся.

- Вася! что с тобой? что ты? чего ты так смотришь?

- Аркадий, я, право, пойду завтра поздравить Юлиана Мастаковича.

- Ну, ступай, пожалуй! - говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании.

- Послушай, Вася, ускорю перо; я зла тебе не советую, ей-богу же так! Сколько раз говорил сам Юлиан Мастакович, что у тебя в пере ему всего более нравится четкость! Ведь это Скоропл°хин только любит, чтоб было четко и красиво, как пропись, чтоб потом как-нибудь зажилить бумажку да детям домой нести переписывать: не может купить, болван, прописей! А Юлиан Мастакович только и говорит, только и требует: четко, четко и четко!.. чего же тебе! право! Вася, я

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
уж не знаю, как и говорить с тобой... Я боюсь даже... Ты меня убиваешь тоской своей.

- Ничего, ничего! - говорил Вася и в изнеможении упал на стул. Аркадий встревожился.

- Не хочешь ли воды? Вася! Вася!

- Полно, полно, - сказал Вася, сжимая его руку. - Я ничего; мне только стало как-то грустно, Аркадий. Я даже и сам не могу сказать отчего. Послушай, говори лучше о другом; не напоминай мне...

- Успокойся, ради бога, успокойся, Вася. Ты докончишь, ей-богу, докончишь! А хоть бы и не докончил.. так что ж за беда? Точно преступление какое!

- Аркадий, - сказал Вася, так значительно смотря на своего друга, что тот решительно испугался, ибо никогда Вася не тревожился так ужасно. - Если б я был один, как прежде... Нет! я не то говорю. Мне все хочется тебе сказать, поверить, как другу... Впрочем, зачем же беспокоить тебя?.. Видишь, Аркадий, одним дано многое, другие делают маленькое, как я. Ну, если б от тебя потребовали благодарности, признательности - и ты бы не мог этого сделать?..

- Вася! я решительно не понимаю тебя!

- Я никогда не был неблагодарен, - продолжал Вася тихо, как будто рассуждая сам с собою. - Но если я не в состоянии высказать всего, что чувствую, то оно как будто бы... Оно, Аркадий, выйдет, как будто я и в самом деле неблагодарен, а это меня убивает.

- Да что ж, да что! Неужели же в том вся благодарность, что ты перепишешь к сроку? Подумай, Вася, что ты говоришь! разве в этом выражается благодарность?

Вася вдруг замолчал и посмотрел во все глаза на Аркадия, как будто его неожиданный аргумент разрушил все сомнения. Он даже улыбнулся, но тотчас же принял опять прежнее задумчивое выражение. Аркадий, приняв эту улыбку за окончание всех страхов, а тревогу, опять явившуюся, за решимость на что-нибудь лучшее, крайне обрадовался.

- Ну, брат Аркаша, проснешься, - сказал Вася, - взгляни на меня; неравно я засну, беда будет; а теперь я сажусь за работу... Аркаша?

- Что?

- Нет, я так только, я ничего... я хотел.

Вася уселся и замолчал, Аркадий улегся. Ни тот, ни другой не сказали двух слов о коломенских. Может быть, оба чувствовали, что провинились немножко, покутили некстати. Вскоре Аркадий Иванович заснул, все тоскуя об Васе. К удивлению своему, он проснулся ровно в восьмом часу утра. Вася спал на стуле, держа в руке перо, бледный и утомленный; свечка сгорела. В кухне возилась Мавра за самоваром.

- Вася, Вася! - закричал Аркадий в испуге... - Когда ты лег?

Вася открыл глаза и вскочил со стула...

- Ах! - сказал он. - Я так и заснул!..

Он тотчас же бросился к бумагам - ничего: все было в порядке; ни чернилами, ни салом от свечки не капнуло.

- Я думаю, я заснул часов в шесть, - сказал Вася. - Как ночью холодно! Выпьем-ка чаю, и я опять...

- Подкрепился ли ты?

- Да-да, ничего, теперь ничего!..

- С Новым годом, брат Вася.

- Здравствуй, брат, здравствуй; тебя также, милый.

Они обнялись. У Васи дрожал подбородок и повлажнили глаза. Аркадий Иванович молчал: ему стало горько; оба пили чай наскоро...

- Аркадий! Я решил, я сам пойду к Юлиану Мастаковичу...

- Да ведь он не заметит...

- Да меня-то, брат, почти мучит совесть.

- Да ведь ты для него же сидишь, для него же убиваешься... полно! А я, знаешь что, брат, я зайду туда...

- Куда? - спросил Вася.

- К Артемьевым, поздравлю с моей и с твоей стороны.

- Голубчик мой, миленький! Ну! я здесь останусь; да, я вижу, что ты хорошо придумал; ведь я же тут работаю, не в праздности время провожу! Постой на минутку, я тотчас письмо напишу.

- Пиши, брат, пиши, успеешь; я еще умоюсь, побреюсь, фрак почищу. Ну, брат Вася, мы будем довольны и счастливы! Обними меня, Вася!

- Ах, кабы, брат!..

- Здесь живет господин чиновник Шумков? - раздался детский голосок на лестнице...

- Здесь, батюшка, здесь, - проговорила Мавра, впуская гостя.

- Что там? что, что? - закричал Вася, вспрыгнув со стула и бросаясь в переднюю.  
- Петенька, ты?..

- Здравствуйте, с Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович, - сказал хорошенький черноволосый мальчик лет десяти, в кудряшках, - сестрица вам кланяется, и маменька тоже, а сестрица велела вас поцеловать от себя...

Вася вскинул на воздух посланника и вlepил в его губки, которые ужасно походили на Лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй.

- Целуй, Аркадий! - говорил он, передав ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные в полном смысле слова объятия Аркадия Ивановича.

- Голубчик ты мой, хочешь чайку?

- Покорно благодарю-с. Уж мы пили! Сегодня поднялись рано. Наши к обедне ушли. Сестрица два часа меня завивала, напмадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице: мы в снежки стали играть...

- Ну-ну-ну-ну!

- Ну, все меня наряжала к вам идти; потом напмадила, а потом зацеловала совсем, говорит: "Сходи к Васе, поздравь да спроси, довольны ли они, покойно ли почивали и еще... и еще что-то спросить - да! и еще, кончено ль дело, об котором вы вчера... там как-то... да вот, у меня записано, - сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из кармана, да! беспокоились.

- Будет кончено! будет! так ей и скажи, что будет, непременно кончу, честное слово!

- Да еще... ах! я и забыл; сестрица записочку и подарок прислала, а я и забыл!..

- Боже мой!.. Ах ты, голубчик мой! где... где? вот-а?! Смотри, брат, что мне пишет. Го-лу-бушка, миленькая! Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня; он

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) не кончен, так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри!

И потрясенный от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу; потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу.

- Вася! Я тебе медальон закажу для этих волос! - решительно сказал наконец Аркадий Иванович.

- А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги; маменька хочет бисквиты готовить... а пшенной каши не будет, - сказал мальчик, подумав, как заключить свои рассказы.

- Фу, какой хорошенький мальчик! - закричал Аркадий Иванович. - Вася, ты счастливейший смертный!

Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему.

- Ну, брат, - заговорил обрадованный Аркадий Иванович, - видишь, как хорошо, видишь! Все уладилось к лучшему, не горюй, не робей! вперед! Кончай, Вася, кончай! В два часа я домой; заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу...

- Ну, прощай, брат, прощай... Ах, кабы!.. Ну, хорошо, ступай, хорошо, - сказал Вася, - я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу.

- Прощай!

- Стой, брат, стой; скажи им... ну, все, что найдешь; ее поцелуй... да расскажи, братец, все потом расскажи...

- Ну уж, ну уж - известно, знаем что! Это счастье перевернуло тебя! Это неожиданность; ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, конечно! оправься, голубчик Вася! Прощай, прощай!

Наконец друзья расстались. Все утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый, раздражительный характер его. "Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся! - говорил он сам про себя. - Боже мой! Он и на меня нагнал тоску. И из чего этот человек способен поднять трагедию! Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти! нужно спасти!" проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в одиннадцать часов попал он в швейцарскую Юлиана Мастаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе закапанной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление, когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова! Это его поразило. "Что с ним делается?" - подумал он. Аркадий Иванович, взывавший еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно, приготавлилась беда; но где? но какая?

В Коломну он приехал с мрачными мыслями, был рассеян сначала, но, поговорив с Лизанькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал.

- Куда ты? - закричал Аркадий Иванович.

Вася остановился, как пойманный в преступлении.

- Я, брат, так; я прогуляться хотел.

- Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася! Ну, зачем ты ходил к Юлиану Мастаковичу?

Вася не отвечал; но потом махнул рукой и сказал:

- Аркадий! я не знаю, что со мной делается! я...

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
- Полно, Вася, полно! ведь я знаю, что это такое. Успокойся! ты взволнован и потрясен со вчерашнего дня! Подумай: ну, как не снести этого! Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно кончишь, я знаю: ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то...

- Нет, ничего, ничего...

- Помнишь, Вася, помнишь, ведь это было с тобой; помнишь, когда ты чин получил, ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое...

- Да, да, Аркадий; но теперь другое, теперь совсем не то.

- Да как не то, помилуй! И дело-то, может быть, вовсе не спешное, а ты себя убиваешь...

- Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем!

- Что ж ты домой, а не к ним?

- Нет, брат, с каким я лицом явлюсь?.. Я раздумал. Я только один без тебя не высидел; а вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем!

Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил.

- Что ж ты меня не расспрашиваешь об них? - сказал Аркадий Иванович.

- Ах, да! Ну, Аркашенька, что ж?

- Вася, ты на себя непохож!

- Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне все, Аркаша! - сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю.

Рассказ о коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтоб просидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в восемь часов. Три часа разлуки прошли для него как три года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что все темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что все писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом, час тому назад, убежал, сказав, что через полчаса будет; "а когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, - заключила Мавра, что гулять я пошел, и три, не то, мол, четыре раза наказывал".

"У Артемьевых он!" - подумал Аркадий Иванович и покачал головой.

Через минуту он вскочил, оживленный надеждой. Он просто кончил, подумал он; вот и все; не утерпел да и убежал туда. Впрочем, нет! Он меня бы дождался... Взгляну-ка я, что там у него! Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи: работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася...

- А, ты здесь? - закричал он, вздрогнув от испуга. Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось...

- Вася, брат мой, что с тобой? что ты? - закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. - Объяснись со мной; я не понимаю тебя и тоски твоей; что с тобой, мученик ты мой? что? Скажи мне все без утайки. Не может быть, чтоб это одно...

Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило.

– Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебе, что ж такое? Я не понимаю тебя; открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя... Ах, боже мой, боже мой! – говорил он, шагая по комнате и хватаясь за все, что ни попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. – Я сам завтра, вместо тебя, пойду к Юлиану Мастаковичу, буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это так тебя мучает...

– Боже тебя сохрани! – вскричал Вася и побелел, как стена. Он едва устоял на месте.

– Вася, Вася!..

Вася очнулся. Губы его дрожали; он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия... Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза.

– Вася! бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой.

Слезы градом хлынули из глаз Васи; он бросился на грудь Аркадия.

– Я обманул тебя, Аркадий! – говорил он. – Я обманул тебя; прости меня, прости! Я обманул твою дружбу...

– Что, что, Вася? что ж такое? – спросил Аркадий решительно в ужасе.

– Вот!

И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал.

– Что это?

– Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал! Не спрашивай, не спрашивай... как это сделалось! продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. – Аркадий, друг мой! Я не знаю сам, что было со мной! Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. Я все... я... ходил к ней... У меня сердце болело, я мучился... неизвестностью... я и не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся.

– Вася! – начал Аркадий Иванович решительно. – Вася! я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дело не шутка. Я спасу тебя! Слушай, слушай меня: я завтра же иду к Юлиану Мастаковичу... Не качай головой, нет, слушай! Я расскажу ему все, как было; позволь уж мне сделать так... Я объясню ему... я на все пойду! Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучишься.

– Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня? – проговорил Вася, весь похолодев от испуга.

Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся.

– Только-то? только это? – сказал он. – Помилуй, Вася, помилуй! не стыдно ли? Ну, послушай! Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу! Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Лизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься... Ну, постой, постой! Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мастаковича! Я оставляю его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего! Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься... Да, брат, ты уж согласишься, что тебе бы хотелось, чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смеюсь, это так; ты уж давно мне все почти такое же в разных

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) видах представлял. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь! Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое радение, уменье... ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал! Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мастакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, - и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность... Ведь так, не правда ли? Ведь так?

Аркадий Иванович, у которого дрожал голос оканчивая, замолчал и перевел дух.

Вася смотрел с любовью на своего друга. Улыбка скользила по губам его.

Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его.

- Ну, так слушай же, - начал снова Аркадий, еще более вдохновленный надеждою, - так и не нужно, чтоб Юлиан Мастакович изменил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой? в этом вопрос? А коль в этом, так я же, - сказал Аркадий, вскочив с места, - я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мастаковичу... И не противоречь мне! Ты, Вася, свой проступок до преступления возводишь. А он, Юлиан Мастакович, великодушен и милосерд, да к тому же не таков, как ты! Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну! спокоен ли ты?

Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия.

- Полно, Аркадий, полно, - сказал он, - дело решенное. Ну, я не кончил, ну, и хорошо; не кончил, так не кончил. И тебе ходить не нужно: я сам все расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен; только ты не ходи... Да послушай.

- Вася, дорогой ты мой! - вскричал в радости Аркадий Иванович. - Я по твоим словам говорил; я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, я при тебе, это помни! Я вижу, тебя терзает то, чтоб я не говорил ничего Юлиану Мастаковичу, - и не скажу, ничего не скажу, ты сам скажешь. Видишь ли: ты завтра пойдешь... или нет, ты не пойдешь, ты здесь будешь писать, понимаешь? а я там узнаю, какое это дело, очень ли спешное или нет, нужно ли его к сроку или нет, и если просрочишь, так что может выйти из этого? Потом я к тебе прибегу... Видишь, видишь! уж есть надежда; ну, представь, что дело не спешное - ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может не напомнить, и тогда все спасено.

Вася сомнительно покачал головою. Но благодарный взор его не сходил с лица друга.

- Ну, полно, полно! Я так слаб, так устал, - говорил он задыхаясь, мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом! Я, видишь ли, и писать, пожалуй, не буду теперь, а только так, две странички только окончу, чтоб дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай... я давно хотел спросить тебя: как это ты так хорошо меня знаешь?

Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия.

- Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, - да!

- Да, да, Аркадий, я не знаю этого, потому... потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил! Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала? Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе (потому что и всегда думаю об тебе, когда засыпаю), я обливался слезами, и сердце мое дрожало оттого, оттого... Ну, оттого, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог...

- Видишь, Вася, видишь, какой ты!..Смотри, как ты расстроен теперь, говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
сцену на улице.

- Полно; ты хочешь, чтоб я успокоился, а я никогда еще не был так спокоен и счастлив! Знаешь ли... Послушай, мне бы хотелось тебе все рассказать, да я все боюсь тебя огорчить... Ты все огорчаешься и кричишь на меня; а я пугаюсь... смотри, как я дрожу теперь, я не знаю отчего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде, - да! да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце... во мне было черство... Слушай, как это случилось, что никому-то, никому я не сделал добра на свете, потому что сделать не мог, - даже и видом-то я неприятен... А всякий-то мне делал добро! Вот ты первый: разве я не вижу. Я только молчал, только молчал!

- Вася, полно!

- Что ж, Аркаша! Что ж!.. Я ведь ничего... - прервал Вася, едва выговаривая слова от слез. - Я тебе говорил вчера про Юлиана Мастаковича. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой, даже ты несколько раз на замечанье к нему попадал, а со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне...

- Ну, что ж, Вася? Это только показывает, что ты достоин своего счастья.

- Ах, Аркаша! Как мне хотелось кончить это все дело!.. Нет, я сгублю свое счастье! У меня есть предчувствие! да нет, не через это, - перебил Вася, затем что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе, - это ничего, это бумага писаная... вздор! Это дело решенное... я... Аркаша, был сегодня там, у них... я ведь не входил. Мне тяжело было, горько! Я только простоял у дверей. Она играла на фортепьяно, я слушал. Видишь, Аркадий, - сказал он, понижая голос, - я не посмел войти..

- Послушай, Вася, что с тобой? ты так на меня смотришь?

- Что? ничего? мне немного дурно; ноги дрожат; это оттого, что я ночью сидел. Да! у меня в глазах зеленеет. У меня здесь, здесь...

Он показал на сердце. С ним сделался обморок.

Когда он пришел в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно докончить свои две страницы. Чтоб не разгорячить его, Аркадий допустил его до бумаг.

- Видишь, - сказал Вася, усаживаясь на место, - видишь, и у меня идея пришла, есть надежда.

Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды.

- Вот что: я понесу ему послезавтра не все. Про остальное солгу, скажу, что сгорело, что подмокло, что потерял... что, наконец, ну, не кончил, я лгать не могу. Я сам объясню - знаешь что? я объясню ему все; я скажу: так и так, не мог... я расскажу ему про любовь мою; он же сам недавно женился, он поймет меня! Я сделаю это все, разумеется, почтительно, тихо; он увидит слезы мои, он тронется ими...

- Да, разумеется, поди, поди к нему, объяснись... да тут и слез не нужно! из чего? Право, Вася, ты и меня совсем запугал.

- Да, я пойду, пойду. А теперь дай мне писать, дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону, дай мне писать!

Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на все. Но просить прощения, в чем, как? Дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым сам пред собою, чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастьем и считает себя его недостойным, что, наконец, он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности. "Вот что такое! - подумал Аркадий Иванович. - Нужно спасти

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) его. Нужно помирить его с самим собою. Он сам себя отпевает". Он думал, думал да и решил немедленно идти к Юлиану Мастаковичу, завтра же идти, и рассказать ему все.

Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович прилег, чтоб пораздумать о деле опять, и проснулся перед рассветом.

- Ай, черт! опять! - закричал он, посмотрев на Васю; тот сидел и писал.

Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался: глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить.

- Я и сам хотел лечь, - сказал он. - Знаешь, Аркадий, у меня есть идея; я кончу. Я ускорил перо! Дальше сидеть я был неспособен; разбуди меня в восемь часов.

Он не договорил и заснул как убитый.

- Мавра! - шепотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносящей чай, - он просил разбудить его через час. Ни под каким видом! пусть спит хоть десять часов, понимаешь?

- Понимаю, барин-батюшка.

- Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе! Коли спросит меня, скажи, что я в должность ушел, понимаешь?

- Понимаю-ста, батюшка-барин; пусть поживает вволю, что мне! Я рада барскому сну; и барское добро берегу. А наемни, что чашку разбила и попрекать изволили, так это не я, это кошка Машка разбила, а я не догляди за ней; брысь, говорю, проклятая!

- Тсс, молчи, молчи!

Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мастаковичу, и ловко ли, и не дерзко ли будет? В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство; ответили, что нет, да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мастакович не приехал, так, стало быть, занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукою он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями, - какими, не знал никто. Наконец пробило три часа, и Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил, этак будет в первом часу, и спрашивал, прибавил писарь: тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мастакович. Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга.

Шумков был дома. Он ходил по комнате чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, затем что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжелой, пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную, бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, часу в одиннадцатом, Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло две-три минуты; Вася молчал. "Вася! - крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. - Вася! - повторил он, вскочив с кровати. Вася, что с тобой? что ты?" - закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. "На него столбняк нашел!" - подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках, - и Вася очнулся. "Вася, Вася! - кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. - Вася, не губи себя, вспомни! вспомни!.." Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи; он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
разлетится.

- Не знаю, что это со мною! - проговорил он наконец, - я, кажется, надорвался. Ну, хорошо, хорошо! Полно, Аркадий, не печалься; полно! повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом, - чего беспокоиться? полно!

- Ты же, ты же меня утешаешь, - закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. - Вася, - сказал он наконец, - приляг, засни немножко, что? Не мучь себя понапрасну! Лучше потом опять сядешь работать!

- Да, да! - повторял Вася. - Изволь! я лягу; хорошо; да! видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал, да...

И Аркадий утащил его на постель.

- Слушай, Вася, - сказал он твердо, - нужно окончательно решить это дело! Скажи мне, что ты задумал?

- Ах! - сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову.

- Полно, Вася, полно! решишь! Я не хочу быть убийцей твоим: я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не решишься, я знаю.

- Как хочешь, как хочешь, - загадочно повторил Вася.

"Сдается!" - подумал Аркадий Иванович.

- Последуй мне, Вася, - сказал он, - вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра; завтра я решу твою участь! Что я говорю, участь! Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую твоими словами. Какая участь! Просто вздор, пустяки! Тебе не хочется потерять расположение, любовь, если хочешь, Юлиана Мастаковича, да! и не потеряешь, увидишь... Я...

Аркадий Иванович еще долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его.

- Довольно! - сказал он слабым голосом, - довольно! полно об этом!

И он снова повернул к стене свою голову.

"Боже мой! - думал Аркадий, - боже мой! что с ним? Он совсем потерялся; на что он решился такое? Он погубит себя".

Аркадий смотрел на него в отчаянии.

"Если б он заболел, - думал Аркадий, - может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить все дело. Но что я вру! Ах, создатель мой!.."

Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. "Добрый знак!" - думал он. Он решился сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминутно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх; казалось, он заснул как убитый. Было около двух часов утра; Аркадий Иванович задремал на стуле, облокотясь локтем на стол.

Сон его был тревожен и странен. Ему все казалось, что он не спит и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело! Ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его и вот-вот встает потихоньку, наблюдая его вполглаза, и крадется за письменный стол. Жгучая боль захватывала сердце Аркадия; ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унести на кровать... Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия, сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал.

Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель: там не было Васи.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Аркадий вскопчил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся. Он все писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, . перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело! "Нет, это не столбняк! – подумал Аркадий Иванович и затрясся всем телом. – Вася, Вася! откликнись же мне!" – закричал он, схватив его за плечо. Но Вася молчал и по-прежнему продолжал строчить сухим пером по бумаге.

– Наконец я ускорил перо, – проговорил он, не подымая головы на Аркадия.

Аркадий схватил его за руку и вырвал перо.

Стон вырвался из груди Васи. Он опустил руку и поднял глаза на Аркадия, потом с томительно-тоскливым чувством провел рукою по лбу, как будто желая снять с себя какой-то тяжелый, свинцовый груз, налегший на все существо его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову.

– Вася, Вася! – вскричал Аркадий Иванович в отчаянии. – Вася!

Через минуту Вася посмотрел на него. Слезы стояли в его больших голубых глазах, и бледное кроткое лицо его выразило бесконечную муку... Он что-то шептал.

– Что, что? – закричал Аркадий, наклоняясь к нему.

– За что же, за что меня? – шептал Вася. – За что? Что я сделал?

– Вася! что ты? чего ты боишься, Вася? чего? – закричал Аркадий, ломая руки в отчаянии.

– За что ж меня в солдаты-то отдавать? – сказал Вася, посмотрев прямо в глаза своего друга. – За что? что я сделал?

Волосы стали дыбом на голове Аркадия; он не хотел верить. Он стоял над ним как убитый.

Через минуту он опомнился. "Это так, это минутное!" – говорил он про себя, весь бледный, с дрожащими, посинелыми губами, и бросился одеваться. Он хотел бежать прямо за доктором. Вдруг Вася кликнул его; Аркадий бросился на него и обнял его, как мать, у которой отнимают родное дитя...

– Аркадий, Аркадий, не говори никому! слышишь; моя беда! Пусть я один и несусь...

– Что ты? что ты? опомнись, Вася, опомнись!

Вася вздохнул, и тихие слезы заструились по щекам его.

– За что же ее убивать? чем же она, чем же она виновата!.. – проворчал он мучительным, раздирающим душу голосом. – Мой грех, мой грех!..

Он замолчал на минуту.

– Прощай, моя любя! Прощай, моя любя! – шептал он, качая бедной своей головою. Аркадий вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором. – Идем! пора! – закричал Вася, увлекшись последним движением Аркадия. – Идем, брат, идем; я готов! Ты меня проводи! – Он замолчал и взглянул на Аркадия убитым, недоверчивым взглядом.

– Вася, не ходи за мной, ради бога! подожди меня здесь. Я сейчас, сейчас ворочусь к тебе, – говорил Аркадий Иванович, сам теряя голову и схватив фуражку, чтобы бежать за доктором. Вася уселся тотчас; он был тих и послушен, только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый перочинный ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры.

Был восьмой час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате.

Он не нашел никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адреса которых узнавал он у дворников, наведываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) уехали, кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел Нефедевич: от кого, кто и как, по какой надобности и как даже будет приметами ранний посетитель? – и заключил тем, что нельзя, дела много и ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу везти.

Тогда убитый, потрясенный Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил все, всех докторов на свете, и пустился домой, в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывала, мела пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату Васи и след простыл: он ушел со двора.

"Куда? где? куда побежит несчастный?" – подумал Аркадий, леденея от ужаса. Он начал допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел, прости его господи! Нефедевич бросился к коломенским.

Ему, бог знает отчего, пришло на мысль, что он там.

Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася? У старухи подломились ноги; она рухнулась на диван. Лизанька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басню, которой, разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство, чтоб по крайней мере не опоздать и дать знать туда, чтоб поскорее приняли меры. Дорогую ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мастаковича. Это было вернее всего: Аркадий прежде всего, прежде коломенских, подумал об этом. Проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать: нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству по крайней мере в качестве рапортующего об Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать!

Еще в приемной окружили его товарищи помоложе, все большею частью ему равные чином, и в один голос стали расспрашивать, что сделалось с Васей? Все они в то же время говорили, что Вася с ума сошел и помешался на том, что его в солдаты хотят отдать за неисправное исполнение дела. Аркадий Иванович отвечал на все стороны или, лучше сказать, не отвечая положительно никому, стремился во внутренние покои. На дороге узнал он, что Вася в кабинете Юлиана Мастаковича, что туда все пошли и что Эспер Иванович тоже туда пошел. Он было приостановился. Кто-то из старших спросил его, куда он и что ему надо? Не отличив лица, он проговорил что-то об Васе и пошел прямо в кабинет. Оттуда уже слышался голос Юлиана Мастаковича. "Куда вы?" спросил его кто-то у самых дверей. Аркадий Иванович почти потерялся; он уже хотел было воротиться, но из-за приотворенной двери увидел своего бедного Васю. Он отворил и протеснился кое-как в комнату. Там царствовала суматоха и недоумение, затем что Юлиан Мастакович был, по-видимому, в сильном огорчении. Около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решили ровно ничего. Поодаль стоял Вася. Все замерло в груди Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Он глядел прямо в глаза Юлиану Мастаковичу. Тотчас заметили Нефедевича, и кто-то, знавший, что они сожители, доложил о том его превосходительству. Аркадия подвели. Он хотел что-то ответить на предложенные вопросы, взглянул на Юлиана Мастаковича и, видя, что на лице его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдал как ребенок. Он даже сделал более: бросился, схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юлиан Мастакович принужден был отнять ее наскоро, махнуть ею по воздуху и сказать: "Ну, полно, брат, полно; вижу, что у тебя доброе сердце". Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нем. "Как же это, как же это с ним сделалось? говорил Юлиан Мастакович. – Отчего же он с ума сошел?"

– От бла-благо-дарности! – мог только выговорить Аркадий Иванович.

Все выслушали ответ его в недоумении, и всем показалось странным и невероятным: как же это так может из благодарности сойти с ума человек? Аркадий объяснился как умел.

– Боже, как жаль! – проговорил наконец Юлиан Мастакович. – И дело-то, порученное ему, было неважное и вовсе не спешное. Так-таки, не из-за чего, погиб человек!

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Что ж, отвести его!.. – Тут Юлиан Мастакович обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. – "Он просит, – сказал он, указав на Васю, – чтоб не говорили об этом какой-то девушке; что она, невеста, что ли, его?"

Аркадий стал объяснять. Между тем Вася как будто думал о чем-то, как будто с величайшим напряжением припоминал одну важную, нужную вещь, которая вот именно теперь бы и пригодилась. Порой он страдальчески поводил глазами, как будто надеялся, что кто-нибудь напомнит ему про то, что забыл он. Он устремился глазами на Аркадия. Наконец, вдруг, как будто надежда блеснула в глазах его, он двинулся с места с левой ноги, ступил три шага как только мог ловче и даже пристукнул правым сапогом, как делают солдаты, подойдя к подозревавшему их офицеру. Все ожидали, что будет.

– Я с телесным недостатком, ваше превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу, – сказал он отрывисто.

Тут все, кто ни были в комнате, все почувствовали, как будто кто-нибудь сжал им сердце, и даже как ни тверд был характером Юлиан Мастакович, но слеза потекла из глаз его. "Уведите его", – сказал он, махнув рукою.

– Лоб! – сказал Вася вполголоса, повернулся налево кругом и вышел из комнаты. За ним бросились все, кого интересовала его участь. Аркадий теснился за прочими. Васю усадили в приемной в ожидании предписания и кареты, чтоб отвезти его в больницу. Он сидел молча и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут: "пора". Кругом его столпился тесный кружок; все покачивали головами, все сетовали. Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известною; одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю, говорили, что был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много; рассказывали, как он старался учиться, был любознателен, стремился образовать себя. "Собственными силами вышел из низкого состояния!" – заметил кто-то. С умилением говорили о привязанности к нему его превосходительства. Некоторые пустились объяснять, почему именно пришло в голову Васе и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что бедняк недавно из податного звания и только по ходатайству Юлиана Мастаковича, умевшего отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. Одним словом, очень много было разных толков и мнений. В особенности, из потрясенных, заметен был один, очень маленький ростом, сослуживец Васи Шумкова. И не то чтобы-таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати. Он был бледен как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался – может быть, потому, что всякое скандальное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радуется постороннего зрителя. Он поминутно обегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать, и все говорил, что он знает, отчего это все, что это не то чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя; потом опять становился на цыпочки, нашептывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и снова перебежал далее. Наконец кончилось все: явился сторож, фельдшер из больницы, подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами! "Вася! Вася!" – закричал, рыдая, Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий-таки протеснился к нему. Они бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга... Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырывало слезы из глаз их? об чем они плакали? где эта беда? зачем они не понимали друг друга?..

– На, на, возьми! сбереги это, – говорил Шумков, совывая какую-то бумажку в руку Аркадия. – Они у меня унесут. Принеси мне потом, принеси; сбереги... – Вася не договорил, его кликнули. Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою, прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку: это был локон черных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. "Ах, бедная Лиза!"

По окончании служебного времени он пошел к коломенским. Нечего говорить, что там было! Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол, закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его детского сердца. Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, всплывшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглисто-инее. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами – отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурит паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетилась осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту...

Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна – он взял другую. К коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через два года он встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит... Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе...

-----Впервые опубликовано: "Отечественные записки", февраль 1848 г. -----

1 Манон Lescaut – Манон Леско (франц.).

2 серизовые – вишневые (франц. cerise).

3 бонбончик – конфетка (франц. bonbon).

c'est plus coquet это кокетливее (франц.).

viveur – живущий в свое удовольствие (франц. viveur).

Федор Михайлович Достоевский

ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

Рассказ

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесечно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную склонность к скоромной пище и кофею и через силу перебогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не быв смиренными и будучи, напротив того, все до единого "злыми надсмешниками" над ее бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, – но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) только способна была Устинья Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился, наконец, самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это все еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, – но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компания изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременно целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решились, словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, своя недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурой своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придрататься насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало; причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скарденность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак, ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на поддержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе сесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) присутствию белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что "Семен-от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощью ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть". Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здесь то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь, не спросясь, совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощью ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. "Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!" Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил ты. Также никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, двух или трех пар изъяснившихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодумием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и наконец только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьевича одним его давнопрошедшим скардным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьевич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его приберет, непременно приберет за то, что долго мальчишка не платит, и что, "наконец, ты, мальчишка, прибавил Семен Иванович, - вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!" Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновью Прокофьевичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он, бедный человек, еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одежду соорудил... и так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его заирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьевич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьевич и скажет: "Дай, добрый человек, Семен Иванович, хлеба!" - так не даст Семен Иванович хлеба и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним.

Все это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончатально. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как любил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частию уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и, если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости, и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных. То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники "выйдут" посolidнее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смиренные и в браке значительнее более приобретают способностей, и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье, и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что, таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду и некоторым господам придется положить и свои карты на стол, - одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и, наконец, разве одолевая ее, но и тут какие-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом... Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозреваемые свойства... Пошли пересуды и говор, и все это как было и с прибавлениями дошло, наконец, своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти все в одном и том же лице, переменял физиономию: лицо стало иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как любил отыскивать истину. Любовь к истине довел он, наконец, до того, что рискнул два раза справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демиды Васильевича, и если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жиде, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда, в одно прекрасное утро, пронесся по всей канцелярии

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семена Ивановича дошел, наконец, и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел – и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ль его что другое – не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш человек несветский, совсем смиренный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостью и даже как будто таинственностью; ибо все время последнего жития своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишьи тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. "А не то десять лет, не то уж за пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, – говорила она подчас своим новым жильцам, – как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку". И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семена Ивановича наделало немало суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взвыла, – к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, и что сгубили его "все те же злые надсмешники", а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы то ни стало, живого или мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскан, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко стояли; близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайко-пьянчужкой. Собрались наконец и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти; но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, – вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но назавтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, или оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то "опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой", – только Зимовейкину пришлось уплывать восвояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестьем изгнан, втерся потом во внимание и

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтуз и наконец явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сделать торжественный прием беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопы, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже, в ожидании, Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву – жильцам; уже весь нос покраснел вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выпалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще никого – ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец, все спать полегли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаграждал ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные. Это был он, он самый, Семен Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели или, лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: "да не пьян, и маковой не было; это уж тебя заверяю, а, верно, так, омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка<sup>1</sup> пришиб". Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении устанавливаясь то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? "Да от каких-то, отвечал он, – из Коломны, шут их знает, господа не господа, а гулявшие, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, бог знает какого тут было; а господа веселые, хорошие!" Взjali Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как, трепещущим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благодаты...

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего божьего света и всех напрасных его тревожений. Как следует, на завтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, – знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и крихтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец, приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) могуче-форменная фраза "неоднократно замечено" окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковику в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом накопить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубля серебром и, тряхнув головою, говорит ему: "денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, - сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, - а у меня, сударь, семеро-с". Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровню аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загрели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, - иначе господин Зимовейкин - находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же, как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же, как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полным зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел все так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой - тот самый дюжий парень, от которого герой наш обрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с четверкой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, - представилась так, как была тогда - в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой за спиной и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять; но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-людской, около нее бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) народ. Наконец, господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же недалеко от него взмолился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик – тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользя от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиной Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горят его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля<sup>2</sup>, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядом вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но, от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувственников. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, по его разумению, по крайней мере такое звание или состояние не причинит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно все более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком; но Семен Иванович не хотел и почувствовать; напротив, промывал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувственников. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и черт знает об чем еще – глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это все изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что "ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?" Услышав такое, Марк Иванович вспылал, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, "милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом". Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. "Врешь ты, - отвечал он теперь, - детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, - побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!"

- Да вы это все еще бредите, что ли, Семен Иванович?

- А, слышь, - отвечал Семен Иванович, - бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!

- Да... то есть как же... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит?..

Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запылила; а у ней не случится, и что в углах будет цело.

- Да ведь, Семен Иванович! - закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. - Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами?. так оно, что ли? Этак вы думаете?

- Ну, слышь ты теперь, - отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на сочувственников, - шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувственники остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась и пьянчужка-приятель, иначе господин Зимовейкин, - робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему. чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Иванова.

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и все платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Подмышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: "Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!" Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивлялись, когда заметили, что Семен Иванович, услышав все это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился пробормотать необходимое возражение. "Ты, несчастный, ступай, сказал он, - ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!"

- Нет, брат, - протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа, - нехорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Иванова и с удовольствием озираясь кругом. - Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираясь кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) беспокойному, что "питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает". От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел наконец с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплевание плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем, причитая, что "уходит жилец и рехнулся, что умрет он, млад, без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают". Одним словом, все, наконец, увидели ясно, что посев был хорош, что все, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

- Как! - закричал Марк Иванович, - да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь карман не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

- Ты, ты, ты глуп! - бормотал Семен Иванович. - Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

- Каблук, пусть каблук, - кричал Марк Иванович, не вслушавшись, каблуковой я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

- А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.

- Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а?

- А вот пьянчужку ссадили...

- Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!

- Ну, человек. А она стоит, да и нет...

- Нет! Да кто она-то?

- Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

- Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

- Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...

- Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат ...

- Жалованье? А я вот проел жалованье, вору придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...

- Золовка! человек вы...

- Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...

- Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...

- Да, хлоп, да и баста, и будешь без места; подь ты с ним, вот...

- Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?

- Ряхнулся! с ума сошел! - раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича. - Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! - умолял Зимовейкин. - Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот в поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяйюшка! - Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и наконец слабым голосом попросил объясниться.

- Да вот; оно хорошо, - сказал он, - миловидный я, смиренный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, - молчи теперь, понимай, - возьмут, да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

- Сенька! - завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. - Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшидаЗ с места укажут; ты кто?!

- Да вот оно и того...

- Что того?! Да вот, поди ты с ним!..

- Что поди ты с ним?

- Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

- Чего?

- Ан и вольнодумец...

- Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!

- Стой! - закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. - Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и несмиренный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..

- Да что ж вы? - прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, - что ж вы? баран вы! ни кола ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, - нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудальными от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)

Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех смягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился соиздать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заработать человек? И из чего ж заработал? Добро бы был при месте большим, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забываясь о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... А и не рассудил человек, что и всем тяжело! "Прими он вот только это в расчет, - говорил потом Океанов, - что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как, куда следует". Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, "и не то, - как говорил он потом, - во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека". Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, показывал Океанов, слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскачили с постелей, затем что за ширмами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый, - и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вдули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают; а как осветили их, то один закричал: "Не я, а разбойник!", а другой, именно Зимовейкин, закричал: "Не тронь, неповинен; сейчас присягну!" На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве, ставив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец все стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех - неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)

пьянство объявил бы абшид Семену Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салопница, под титулом золочки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова к бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недалкий, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за ним Ярославом Ильичом его причет и все кто следует и сзади всех – смущенный господин Океанов. Господин строгий, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырках и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Все было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, – одним словом, шильцо, мыльцо, белое белильцо, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десяток целковиков. "Эге-ге-ге!" – сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосы и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в поларшина длиною; засунули руку в изъяз и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъязненного места и опять сказать "эге-ге!" – как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Все это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы ...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблестала постепенно возрастающая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смиренно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо потрянул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиной к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла – и боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полуторарублевки, хорошенькая монета полтинник, плебеи-четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга гривенники и пятаки серебром, – все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку – но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион – такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, – ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если бы осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет должника покойного. С кого следовало взять подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справкам, не раз упрекали покойного, – то тут же идею оставили, как бесполезную, вредную и в ущерб доброму имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу; но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробыным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без умолку выла, и причитая и кляня Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил? – Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, – отвечал Марк Иванович.

– Ну да и вы просты, матушка, – включал Океанов, – двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачулся, а у вас щи варились, некогда было!.. Э-ах, матушка!..

– Ох уж ты мне, млад-млад! – продолжала хозяйка, – да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-Устиньшка, вот тебе благостыня, а держи ты младого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, – то, вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстук, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок все еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом "домовитой" ласточки: все разбито и

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) истерзано бурей, убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопков... Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбвец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: "Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну как этак, того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак, того, и не умер - слышь ты, встану, так что-то будет, а?" -----

1 кондрашка - удар. (Прим. Ф.М.Достоевского.)

2 пуччинеля - полишинеля, паяца (итал. pulchinella).

3 абшид - увольнение (нем. Abschied).

-----Впервые опубликовано: "Отечественные записки", октябрь 1846 г.

Федор Михайлович Достоевский

Честный вор

(редакция 1860 г.)

Из записок неизвестного

Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор.

До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слышал от нее.

- Вот я, сударь, к вам, - начала она вдруг, - вы бы отдали внаем каморку.

- Какую каморку?

- Да вот что подле кухни. Известно какую.

- Зачем?

- Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем.

- Да кто ее наймет?

- Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто.

- Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там жить?

- Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить.

- На каком окне?

- Известно на каком, будто не знаете! На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул; да и стол есть; все есть.

- Кто ж он такой?

- Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать...

Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, - одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился.

- Есть ли по крайней мере у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь?

- Как же! известно есть. Хороший, бывалый человек; три рубля обещался давать.

На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец; но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого; выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, - конечно, довольно бесцветная перспектива! И потому лишний смиренный человек при таком порядке вещей - благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй. Она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ.

Однажды я остался в квартире один: и Астафий и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и, показалось мне, чужой; я вышел: действительно в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное, осеннее время.

- Чего тебе?

- Чиновника Александра; здесь живет?

- Такого нет, братец; прощай.

- Как же дворник сказал, что здесь, - проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям.

- Убирайся, убирайся, братец; пошел.

На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь.

Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бекешу, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена все время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекешки. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек!

- Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась! А то бы совсем посадил на мель, мошенник!

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Но Астафия Ивановича все это так поразило, что я даже позабыл о покраже, на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которою был занят, поминутно начинал сызнава рассказывать дело, каким это образом все случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и как это все устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу; потом опять бросал все, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и Аграфену начал бранить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это все дело случилось, как он тут стоял, а я там и как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и т. д. Одним словом, Астафий Иванович, хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун.

- Одурачили нас с тобой, Астафий Иваныч! - сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим.

- Одурачили, сударь! Да просто вчуже досадно, зло пробирает, хоть и не моя одежда пропала. И по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром берет, а этот твой труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?

- Да, оно правда, Астафий Иваныч; уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

- Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору розь... А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.

- Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иваныч?

- Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его.

- А как это было, Астафий Иваныч?

- Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места, а когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчужка такой, потаскун, тунядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! ходил он уж бог знает в чем! Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью; все, что ни заведется, проплет. Да не буян; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, все совестится: ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся, то есть он ко мне привязался... мне-то все равно. И какой был человек! Как собачонка привяжется, ты туда и он за тобой; а всего один раз только виделись, мозгляк такой! Сначала пусти его переночевать - ну, пустил; вижу, и паспорт в порядке, человек ничего! Потом, на другой день, тоже пусти его ночевать, а там и на третий пришел, целый день на окне просидел; тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался ж он на меня: и пой и корми его, да еще ночевать пускай - вот бедному человеку, да еще нахлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе вс° пили; да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелей, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю: как мне с ним быть? прогнать его - совестно, жалко: такой жалкий, пропащий человек, что и господи! И бессловесный такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как пьянство человека испортит! Думаю про себя: как скажу я ему: ступай-ка ты, Емельянушка, вон; нечего тебе делать у меня; не к тому попал; самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сiju, что он сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услышал мою речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать, - деликатный был человек! как бы отворил потом дверь да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку... жалко стало! А тут потом, думаю, мне-то самому каково! Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать; вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) съехали мы; тогда еще Александр Филимонович, барин (теперь покойник, царство ему небесное), говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал, - добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кой-какие было, думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушонке, угол занял у ней. А у ней и всего-то один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, пансион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь ты меня! Что ж, сударь, думаете? Воротился я повечеру (к знакомому человеку повидаться ходил) и первого вижу Емелю, сидит себе у меня на сундуке, и клетчатый узелок подле него, сидит в шинелишке, меня поджидает... да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать, - зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: "Принес ли паспорт, Емеля?"

Я тут, сударь, сел да начал раздумывать: что ж он, скитающийся человек, много ль помехи мне сделает? И вышло, по раздумье, что немногого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет. А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест: ему бы только настоечки да зелена винца. Доконает он меня на питейном, подумал я, да тут же, сударь, и другое в голову пришло, и ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был... Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Постою же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

Вот и думаю себе: начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человек, Емельянушка! Начал я, сударь, сперва с доброго слова: так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел да как-нибудь там поправился.

- Полно гулять! Смотри-ка, в отрепье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится; нехорошо! Пора бы, кажется, честь знать. - Сидит, слушает меня, понуря голову, мой Емельянушка. Чего, сударь! Уж до того дошел, что язык пропил, слова путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается! слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет.

- Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич?

- Да так-с, ничего, Астафий Иваныч, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иваныч, подрались на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала.

- Ну, так что ж?

- А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала.

- Ну, так что ж, Емельян Ильич?

- Да ничего-с, Астафий Иваныч, я только так.

"Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку!.."

- А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит: мое счастье; а тут

- другой увидал, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидал...

- Ну, Емельян Ильич.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
- И задрались мужики, Астафий Иванович. А городской подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.

- Ну, так что ж? что же тут такого назидательного есть, Емельянушка?

- Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иванович.

- Э-эх, Емельянушка! что народ! Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?

- Чего-с, Астафий Иванович?

- Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми. В сотый говорю, возьми, пожалей себя!

- Что же мне взять такое, Астафий Иванович? я уж и не знаю, что я такое возьму; и меня-то никто не возьмет, Астафий Иванович.

- За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьющий ты человек!

- А то вот Власа-буфетчика в контору позвали сегодня, Астафий Иванович.

- Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?

- А вот уж и не знаю зачем, Астафий Иванович. Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали...

"Э-эх! думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка! За грехи наши нас господь накажет!" Ну, что с таким человеком делать прикажете, сударь!

Только хитрый был парень, куды! Слушал он, слушал меня, да потом, знать, ему надоело, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет - поминай как звали! день прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина виновата!..

- Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой раз, коли пьяный воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать. Не пущу!..

Выслушав наказ, сидит мой Емеля день, другой; на третий опять улизнул. Жду-пожду, не приходит! Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним! думаю. Запугал я его. Ну, куда он пошел теперь, горемыка? пропадет, пожалуй, господи бог мой! Ночь пришла, не идет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволит. На приступочку голову положил и лежит; окостенел от стужи совсем.

- Что ты, Емеля? Господь с тобой! куда ты попал?

- Да вы, энтото, Астафий Иванович, сердились наемни, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить, так я, энтото, и не посмел войти, Астафий Иванович, да и лег тут...

И злость и жалость взяли меня!

- Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь!..

- Да какую ж бы другую должность, Астафий Иванович?

- Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть бы ты портняжному-то искусству повиучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что в дырках, так ты лестницу ею метешь! взял бы хоть иголку да дырья-то свои законопатил, как честь велит. Э-эх, пьяный ты человек!

Что ж, сударь! и взял он иглу; ведь я ему на смех сказал, а он оробел да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него; ну, дело известное, глаза нагноились, покраснели; руки трепещут, хоть ты што! совал, совал - не вдевается нитка; уж он как примигивался: и помусолит-то, и посучит в

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
руках – нет! бросил, смотрит на меня...

– Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы! Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал... Уж ступай, бог с тобой, от греха! сиди так, да срамного дела не делай, по лестницам не ночуй, меня не срами!..

– Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь!.. Только вас, моего бла... благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну...

Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилаась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бородачке небритой, да как зальется, треснет вдруг целой пригорошней слез мой Емельян... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по сердцу.

"Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал я! Кто бы знал, кто гадал про то?.. Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; пропадай как ветошка!.."

Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит, то есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если б у меня много было, чтоб только всего того не случилось! Были у меня, сударь, рейтузы, прах их возьми, хорошие, славные ретузы, синие с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату, знаете, все хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю: день не пьет, другой не пьет, третий – хмельного в рот не берет, осовел совсем, индо жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю: али куплева, парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий вошел да баста сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это все и было; а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной; прихожу – сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Э-гм! думаю, так-то ты, парень! да и пошел зачем-то в сундук. Глядь! а ретуз-то и нету!.. Я туда и сюда: сгнули! Ну, как перерыл я все, вижу, что нет, – так меня по сердцу как будто скребнуло! Бросился я к старушоночке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было! "Нет, – говорит моя старушонка, – господь с тобой, кавалер, на что мне ретузы, носить, что ли, стать? у меня у самой наемни юбка на добром человеке из вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не ведаю", – говорит. "Кто здесь был, говорю, кто приходил?" – "Да никто, говорит, кавалер, не приходил; я все здесь была. Емельян Ильич выходил, да потом и пришел; вон сидит! Его допроси". – "Не брал ли, Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности, ретуз моих новых, помнишь, еще на помещика строили?" – "Нет, говорит, Астафий Иваныч, я, то есть, энтото, их не брал-с".

Что за оказия! опять искать начал, искал-искал – нет! А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на корточках, да вдруг и накосился на него глазом... Эх-ма! думаю: да так вот у меня и зажгло сердце в груди; даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня.

– Нет, говорит, Астафий Иваныч, я ретуз-то ваших, энтото... вы, может, думаете, что, того, а я их не брал-с.

– Да куда же бы пропасть им, Емельян Ильич?

– Нет, говорит, Астафий Иваныч; не видал совсем.

– Что же, Емельян Ильич, знать, уж они, как там ни есть, взяли да сами пропали?

– Может, что и сами пропали, Астафий Иваныч.

Я как выслушал его, как был – встал, подошел к окну, засветил светильню да и сел работу тачать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и воем в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чует беду, словно перед грозой птица небесная.

- А вот, Астафий Иванович, - начал Емельюшка (а у самого дрожит голосенок), - сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер намедни, женился...

Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, зная, поглядел... Понял Емеля. Вижу: встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду - долго возится, а сам все приговаривает: "Нет как нет, куда бы им, шельмам, сгинуть!" Жду, что будет; вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел.

- Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?

- А вот нет ли ретуз, Астафий Иваныч. Посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь.

- Да что вам, сударь, говорю (с досады величать его начал), что вам, сударь, за бедного, простого человека, как я, заступаться; коленки-то попусту ерзать!

- Да что ж, Астафий Иваныч, я ничего-с... Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать.

- Гм... говорю; послушай-ка, Емельян Ильич!

- Что, говорит, Астафий Иваныч?

- Да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? - То есть вот как, сударь, меня разобрало тем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать.

- Нет-с... Астафий Иванович...

А сам, как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал; потом выполз. Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно, этак минут с десять сидел.

- Нет, говорит, Астафий Иваныч, - да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный как грех.

- Нет, говорит, Астафий Иваныч, я ваших ретуз, того, не изволил брать...

Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясущим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну.

- Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул понапраслиной. А ретузы пусть их, зная, пропадают; не пропадем без ретуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдём... и побираться у чужого бедного человека не будем; заработаем хлеба...

Выслушал меня Емеля, постоял-постоял предо мной, смотрю - сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся; уж я и ко сну отошел, все на том же месте Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю: Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услышал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, зная, все пропил и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик-человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет.

- Что ты, Емеля? - говорю.

И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)

- Ничего... Астафий Иваныч.

- Господь с тобой, Емеля, пусть его все пропадает. Чего ты такой совой сидишь? - Жалко мне стало его.

- Так-с, Астафий Иваныч, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Астафий Иваныч.

- Какую же бы такую работу, Емельян Ильич?

- Так, какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к Федосею Иванычу... Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иваныч. Я, Астафий Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю

- Полно, Емеля, полно; ну, был грех такой, ну - и прошел! Прах его побери! Давай жить по-старому.

- Нет-с, Астафий Иваныч, вы, может быть, все, того... а я ваших ретуз не изволил брать...

- Ну, как хочешь; господь с тобой, Емельянушка!

- Нет-с, Астафий Иваныч. Я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Астафий Иваныч.

- Да господь с тобой, говорю: кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли?

- Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий Иваныч... Я лучше уж пойду-с...

То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него, и вправду встал, тащит на плеча шинелишку.

- Да куда ж ты, этово, Емельян Ильич? послушай ума-разума: что ты? куда ты пойдешь?

- Нет, уж вы прощайте, Астафий Иваныч, уж не держите меня (сам опять хнычет); я уж пойду от греха, Астафий Иванович. Вы уж не такие стали теперь.

- Да какой не такой? такой! Да ты как дитя малое, неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич

- Нет, Астафий Иваныч, вы вот, как уходите, сундук теперь запираете, а я, Астафий Иваныч, вижу и плачу... Нет, уж вы лучше пустите меня, Астафий Иваныч, и простите мне все, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес.

Что ж, сударь? и ушел человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру - нет! Другой день нет, третий - нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошел я на четвертый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал - нет, пропал Емельянушка!

"Уж сносил ли ты свою голову победную? - думаю. - Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, лежишь". Ни жив ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклиная, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю: чем свет, на пятый день (праздник был), скрипит дверь. Вижу, входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице; исхудал весь, как лучина; снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. "Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?"

- Кушал-с, Астафий Иваныч.

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
– Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.

Подавал я ему; ну, тут и увидел, что, может, три дня целых не ел человек, – такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принес винца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.

Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несет ко рту, плескает у него винцо на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол.

– Что ж, Емельянушка?

– Да нет; я, того... Астафий Иваныч.

– Не выпьешь, что ли?

– Да я, Астафий Иваныч, так уж... не буду больше пить, Астафий Иваныч.

– Что ж, ты совсем перестать собрался, Емельюшка, или только сегодня не будешь?

Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.

– Что ты, уж не заболел ли, Емеля?

– Да так, нездоровится, Астафий Иваныч.

Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю: тюри покушай, авось будет лучше! Мотает головой. "Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иваныч". Чаю ему приготовил, старушоночку замотал совсем, нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились: лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. "Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А пожалуй, дать ему порошок". Ну, порошок-то я не дал; так, думаю, балуется медик: а между тем наступил пятый день.

Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается: точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец, взглянул на него; вижу, тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидел, что я гляжу на него, тотчас потупился.

– Астафий Иванович!

– Что, Емельюшка?

– А вот если б, примером, мою шинел<sup>о</sup>ночку в Толкучий снести, так много ль за нее дали бы, Астафий Иваныч?

– Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич.

А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку божию, зная норы его простоватый, в утеху сказал.

– А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублевый, коли суконная вещь?

– Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить.

Помолчал немного Емея; потом опять окликает:

- Астафий Иваныч!

- Что, спрашиваю, Емельянушка?

- Вы продайте шинел<sup>о</sup>ночку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.

Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: все на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.

- Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?

- Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч

Подал я ему испить. Отпил.

- Благодарствую, говорит, Астафий Иваныч.

- Не надо ль еще чего, Емельянушка?

- Нет, Астафий Иваныч; ничего не надо; а я, того...

- Что?

- Эного...

- Чего такого, Емелюшка?

- Ретузы-то... эного... это я их взял у вас тогда... Астафий Иваныч...

- Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром... А у самого, сударь, дух захватило и слезы из глаз посыпались; отвернулся было я на минуту.

- Астафий Иваныч...

Смотрю: хочет Емея мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит... Весь вдруг покраснел, смотрит на меня... Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновение; голову назад закинул, дохнул раз да тут и богу душу отдал . . . . .

-----Впервы  
е опубликовано: "Отечественные записки", апрель 1848 г., под заголовком "Рассказы бывалого человека (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор". При подготовке издания 1860 г. из первого рассказа "Отставной" Достоевский взял лишь две первые страницы; добавил несколько фраз для соединения этих страниц со вторым рассказом и далее печатал текст "Честного вора" с небольшими изменениями. При этом автор опустил заключительную фразу текста 1848 г.

Федор Михайлович Достоевский

ПОЛЗУНКОВ

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны - или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутком и с покорностью

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человек вовсе не был шутком из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материяльных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время – и я даю клятву в том – его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что все это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материяльной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло поместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! – и стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества, – все это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностию и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время непрерывное самоумаление, – все это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих покровителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

– Слушайте, – шепнул мне хозяин. – Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он вас?

Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во все горло.

– Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! – кричал чудак с своего возвышения. – Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю чудо!..

– Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

- Рассказывай!!
- Слушайте же...
- Слушайте, слушайте!!!
- Начинаю; но, господа, это история особенная...
- Хорошо, хорошо!
- Это история комическая.
- Очень хорошо, превосходно, прекрасно, - к делу!
- Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...
- Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комичекая !
- И даже немного трагическая!
- А???
- Словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа, - та история, вследствие которой я попал в такую интересную для меня компанию.
- Без каламбуров!
- Та история...
- Словом, та история, - уж доканчивайте поскорее аполог, - та история, которая чего-нибудь стоит, - примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.
- Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!
- Женился!.. жена!.. Ползунков хотел жениться!!
- Признаюсь, я бы желал теперь видеть madame Ползункову!
- Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую madame Ползункову, пицал один юноша, пробираясь к рассказчику .
- Итак, первая глава, господа: то было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта, - заметьте число, господа, - накануне...
- Первого апреля! - закричал юноша в завитках.
- Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер. Над уездным городом N. сгущались сумерки, хотела выплыть луна... ну, и все там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартирнки, простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне замкнутая: она была слепа, нема, глуха, глупа, - все что угодно!.. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.
- Позвольте, monsieur Ползунков!
- Чего требуете?
- Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!
- Слушаю-с, - проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч . - Я вошел в домик

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Федосей Николаича (благоприобретенный-с). Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы остаемся с ним в темноте...

- Что ж бы такое произошло между вами? - спросил один офицер.

- А как вы полагаете-с? - спросил Ползунков, немедленно обращаясь, с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.

- Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, - я просто-запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными...

- Ассигнациями?

- Ассигнациями-с, и мы поменялись.

- Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, - проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

- Взятками-с! - подхватил Ползунков. - Эх!

Пусть я буду либералом,

Каких много видел я! если вы тоже, как вам попадетсЯ служить в губернии, не погреее рук... на родном очаге... Зане, сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен! Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем!..

Поднялся общий смех.

- А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, - сказал Ползунков, недоверчиво оглядывая все собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова.

- Право, так, господа...

Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, - кто знает, - может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

- Итак, - начал Ползунков, когда все поумолкли, - хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

- Так, стало быть, он их выкупил?

- Выкупил-с.

- Много дал?

- Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, - но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича...

- Ну, что ж он, простил?

- Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

- Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч.

Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: "Чем же, я говорю, бога не боюсь, Федосей Николаич?". Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

- Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, - и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! "Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?" Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой скверный норов и схватился за шляпу...

- Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чем я против вас согрешил?..

- Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич!

Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, - словно пять пудов в нем, так тянет... (А если б и взаправду в нем пять пудов было!..)

- Вижу, - говорит Федосей Николаич, - вижу ваше раскаяние ... вы, знаете, завтра...

- Марии Египетские-с...

- Ну, не плачь, - говорит Федосей Николаич, - полно: согрешил и покался! пойдём! Может быть, удастся мне возвратить говорит, вас опять на путь истинный... Может быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очерств... не скажу очерствелое, - заблудшее сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

- Уж не госпожа ли Ползункова?

- Марья Федосеевна-с, - только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двигаилов по прозвищу. Только он волею божию помре, а завещание-то совершить все в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскивали потом...

- Ух!!!

- Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, - штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке - хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинные!), - а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

- Ага!!

- Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтер наскакал на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, только так плотно утвердился у Федосея Николаича, - ну, словно муртира, засел! Я обиходцем да стороночкой, по подлему норову, "так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отческого-то, отческого когда я дождусь..." Начал он

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно вьюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вчуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрить выдумал! нет же! не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом, ну, и зло меня взяло, за горло совсемхватило, - я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал - да хватить донос! Ну, поподличал, друга выдать хотел, сознаюсь, матерьяльцу-то было много, и славный такой матерьял, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

- А! так вот она, взятка-то!

- Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притащил он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречают меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, - вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне ты с первого слова начала говорить: "Что ты, батенька, так похудел", - говорит. "Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна..." Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое вернуть, ехидна такая: "Что, видно, совесть, говорит, твоей душе не по мерке пришла, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопияла к тебе! Отлились, знать, тебе мои слезки кровавые!" Ей-богу, так и сказала, пошла против совести; чего! то ли за ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки покраснелись, будто от слез, - я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонту она слезки роняла: тот утек восвосяси, улепетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду, - своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накосился на шляпу, хотел схватить да улепетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел - ну, думаю, - нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикуды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, - смерть моя! "Ну, говорит Федосей Николаич, - все забыто, приди, приди... в объятия!" Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. "Благодетель мой, отец ты мой родной!" - говорю, да как зальюсь своими горячими! Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда - со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком господь!), и те режут... сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пуншику выпили, ну, уходили, уластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей все счастье поведал. "Да денег-то дал ли, разбойник?" - "Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворяй ворота!" - "Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, - говорит мне старуха, - знать, молитвы мои услышаны!" Софрона разбудил. "Софрон, говорю, снимай сапоги". Софрон потащил с меня сапоги. "Ну, Софреша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьан завтра, гуляй душа, говорю: барин твой женится!" Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сию да думаю; вдруг и мелькни у меня в голове: завтра-де первое апреля, день-то такой

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
светлый, игривый, как бы так? – да и выдумал! Что ж, сударики! с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расхотился совсем, заигрался, знаете, господа, когда человек разыграется! Всея головой, отцы мои, в грязь полез! То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами – и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я–то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные ... э–эх!..

Хохот, начинавший мало–помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой–то восторг; он остановился, несколько минут перебегаая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким–то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

– Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге; видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудился, напутал вздору, наврал, нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего–то и спал часик–другой, и за то же! Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстиями, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. "Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите", – да и подаю ее при рапорте; а в рапорте–то знаете что было? А было: по таким–то да по таким–то такого–то Осипа Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой–то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее–то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки–то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлецом представился, напугать их выдумал! и выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. "Что ж, Осип Михайлыч?" А я как дурак: "Первое апреля! с праздником вас, Федосей Николаич!" – то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во все горло, – пугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

– Да нет, что же дальше?

– Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! – поднялось со всех сторон.

– Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник–то я, и забавник–то я, и перепугал–то я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! "Ну, родной ты мой, – запищала советница, – напугал меня так, что по сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полуумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким твой–то оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дурного ничего не скажу! Слава богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!...

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезилась, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для первого

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
апреля штучку извоили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с  
бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже надуть хотел, - смех-то  
пошел какой! умиление-то было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, смотрю: беспорядок ужаснейший, все в запустении, везде крючки да кавыки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот все прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. "Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!" Бегу сломя голову - что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голове промочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! "Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставлю, птенцы мои!" жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, - ну, я и сам зарюмил! "Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения!" Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. "Просьба есть до тебя!" - "какая-с?" - "Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя, зануждался совсем!" - "Как так?" Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. "Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Зablуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше! С меня, братец, взыщут: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!" Святители, думаю, вот праведник! вот душа! А он: "Да, говорит, дочерних брать не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь!" Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. "Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!" Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. "Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков!" Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: "Вот, батюшка, все, только пятьдесят целковых извел!" - "Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья пятьдесят рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано..." Ну что ж, господа! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

- Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

- Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. Назавтра же, на другой же день, ранехонько поутру пакет за казенной печатью. Смотрю - и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны!..

- Как так?

- Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал просто, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: "Что?" говорю. "А что ж?" - говорит. "Да вот же отставка!" - "Какая отставка?" "А это?" - "Ну что ж, и отставка-с!" - "Да как же, разве я пожелал?" - "А как же, вы подали-с, первого апреля вы подали" (а бумагу-то я не взял назад!). - "Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видят очи мои!" - "Меня-с, а что-с?" - "Господи, бог мой!" - "Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!" "Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!" - "Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими за бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас там как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
Матвеева сторговал, перееедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливым путем!" Я домой со всех ног: "Пропали мы, бабушка!" – взвыла она, сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит: первое апреля, а больше и нет ничего. Вот, господа, что, как вы думаете-с?!

– Ну, что же, что же дальше???

– Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать...

– Ну!

– Да как-то не выговорилось, господа!

-----Впервые опубликовано: "Иллюстрированный альманах", изданный И.Панаевым и Н.Некрасовым, СПб., 1848 г.

Федор Михайлович Достоевский

РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ

I

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу)

Милостивый государь и драгоценнейший друг,

Иван Петрович!

Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, а нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу у Семена Алексеича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, что вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. Трех месяцев нет, как женаты, а уже negliжируете домашними своими пенатами. Мы все много смеялись, – от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется, – но, кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеич, что не в клубе ли вы Соединенного общества на бале? Оставляю жену у супруги Семена Алексеича, сам же лечу в Соединенное общество. Смех и горе! представьте мое положение: я на бал – и один, без жены! Иван Андреич, встретившийся со мною в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил (злодей!) о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям и, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танцкласс, говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе и что от пачули с резедою у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреич уверяет и божится, что вы непременно на "Горе от ума" в Александринском театре.

Лечу в Александринский театр: нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова – не тут то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным – то же самое. Одним словом, измучился совершенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!). Дело-то мое отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее, и потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите.

Кстати, бесценнейший друг мой, – коли дело дошло до пера, то все в строку, – нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которую вы зло надо мной подшутили... злодей вы, бессовестный человек! Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаича, ассюрируете<sup>1</sup> его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростертыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом, поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. Мочи нет, батюшка! Падам до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами или в чем-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый; но вот погодите, увидимся; а между тем, если встретите его, то шепните ему, ради бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер такой: не могу, да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и проч.

P.S. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днем все хуже и хуже. Страдает зубенками; вырезаются. Жена все нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой.

II

(От Ивана Петровича к Петру Иванычу)

Милостивый государь,

Петр Иваныч!

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищите меня бог знает в каких местах, а я просто был дома. До десяти часов ожидал Ивана Иваныча Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины одиннадцатого; долее невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извозчика, завожу ее домой, а сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там, но опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь, утром заезжаю к вам три раза, в девять, в десять и в одиннадцать часов, три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом.

Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгении Николаиче, просите шепнуть и не упоминаете почему. Хвалю осторожность, но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на папильотки жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили мне это все написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать придется, коли negliжировать условиями будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут еще жена хнычет: сшей ей бархатный капот по модному вкусу. Насчет же Евгения Николаича спешу вам заметить: навел я вчера, не теряя времени, окончательно справки, в бытность мою у Павла Семеныча Перепалкина. У него своих пятьсот душ в Ярославской губернии, да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. Денег же сколько, не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в Александрыном театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как третьего дня, провел свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. Затем имею честь пребыть.

P.S. Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театры ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею.

III

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу)

Бесценнейший друг мой,

Иван Петрович!

Виноват, виноват и тысячу раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеича с известием, что с тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую!

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
постороннее нужное дело и еду в дом тетушки. Нахожу ее едва живу. Ровно в пять часов последовал с нею удар, уже третий в два года. Карл Федорыч, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе! Утром только, истощив свои силы и удрученный телесною и душевною немощью, прилег я у них же на диване, забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. Тетушке лучше. Еду к жене; она, бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кой-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас.

Теперь же остаюсь и т.д.

P.S. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Федорыч прописал ему ревеньку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет все – папа, мама, бу... Жена в слезах целое утро.

IV

(От Ивана Петровича к Петру Иванычу)

Милостивый государь мой, Петр Иваныч!

Пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро; а прежде чем взялся за перо, прождал вас с лишком два часа с половиною. Теперь позвольте мне вам прямо сказать, Петр Иваныч, мое открытое мнение насчет всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых, зовете меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, я людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милостивый государь... Являюсь к вам утром, надеюсь застать вас и не подражая таким манером некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей бог знает по какие места, когда их можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь только, соображая все дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятное намерение свое питали вы с давних пор. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе, почти непозволительным образом, овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Бойтесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто не считал, и все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаичем, и когда я, с неразгаданным мною доселе письмом вашим от седьмого сего месяца, ищу объясниться с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендации разных лиц, а между тем, и неизвестно каким образом, устраиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей, вам оказанной относительно Евгения Николаича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуясь при том честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге, а дела своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным.

Позвольте пребыть и т.д.

V

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Ноября 11-го.

Любезнейший, почтеннейший друг мой,

Иван Петрович!

До глубины души моей я был огорчен письмом вашим. И не совестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающей. Тетушка Евфимия Николавна преставилась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокойство. Но, не обаяясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что, наконец, вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись!

Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель; боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо... дела зовут, а их целая куча.

Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть и проч.

VI

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Ноября 14-го

Милостивый мой государь, Петр Иванович!

Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, – между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частью для того чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей, частью же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться.

Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому, что вероломством души своей положили заране изменить своему честному слову и существовавшему между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время,

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостью вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под льстивою и блестящею наружностью скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устройство козней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из нижеследующего.

Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуместь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ревеню дали и что-де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в пять часов, изъясняясь, таким образом, и тут с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходят даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть и кстати и во-время, узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть.

Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно: в непрерывном умалчивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе трехсот пятидесяти рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти и что он сам ни то ни с°, ни рыба ни мясо, что и поставили ему в порок в письме своем от шестого числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благонаправленного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по несколько десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои и Евгения Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили?

Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во-вторых, всех за тем следующих мне, по обещанию вашему, сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света.

Позвольте пребыть и проч.

VII

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу)

Ноября 15-го.

Иван Петрович!

Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, – но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден.

Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, "Дон-Кихота Ламанчского", с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Покамест их ищут; но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые.

Впрочем, честь имею пребыть и проч.

VIII

Шестнадцатого числа ноября Петр Иваныч получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложенную, на бледно-розовой бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаичу, число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает:

Милый Еуг`ене! Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это все она исписала? Впрочем, есть слог; спасибо тебе; вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради бога.

А.

Петр Иваныч распечатывает второе письмо.

Петр Иваныч!

Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно изволили даром бумагу марать.

На будущей неделе уезжаю в Симбирск; приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаич; желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь.

IX

Семнадцатого числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его; адресовано к Евгению Николаичу, число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает:

Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мой!! Помяните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое мое... помните?

Татьяна.

Во втором письме было следующее.

Иван Петрович! Завтра вы получите калоши новые; я ничего не привык таскать из чужих карманов; также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины.

Евгений Николаич на днях уезжает в Симбирск, по делам своего деда, и просил меня похлопотать о попутчике; не хотите ли?

-----

1 ассюрируете - обеспечиваете (франц. assurer).

2 претекстую - ссылаюсь (франц. pre'texter).

-----Впервые опубликовано: "Современник", N1, январь 1847 г.

Федор Михайлович Достоевский

ЕЛКА И СВАДЬБА

Из записок неизвестного

На днях я видел свадьбу... но нет! лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) мне, попал на семейное счастье... Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, художавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья; когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не *con amore* и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было пятеро сытенных мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему для рекомендации своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик, черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами навывате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку – с своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословью этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки.

Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плющовой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремястами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандал<sup>ь</sup>ною сценою ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам.

- Триста... триста, - шептал он. - Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. Шестнадцать - пять лет! Положим, по четыре на сто 12, пять раз =60, да на эти 60... ну, положим, всего будет через пять лет четыреста. Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверное; ну, излишек на тряпки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до *pes plus ultra*, когда он остановился и бросил другой, решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.

- А что вы тут делаете, милое дитя? - спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.

- Играем...

- А? с ним? - Юлиан Мастакович покосился на мальчика.

- А ты бы, душенька, пошел в залу, - сказал он ему.

Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.

- А что это у вас, куколка, милое дитя? - спросил он.

- Куколка, - отвечала девочка, морщась и немножко робея.

- Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?

- Не знаю... - отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.

- А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, - сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

- А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? - спросил Юлиан Мастакович, понижая все более и более голос.

- Не знаю.

- А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю .

Тут Юлиан Мастакович, взволнованный донельзя осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос, спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:

- А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) шутку.

- Пошел, пошел отсюда, пошел! - говорил он мальчишке. - Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам!

- Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, - сказала девочка, оставьте его, оставьте его! - говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка и прямо абордировать свой предмет, несмотря на то что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал - куда забежать от страха.

- Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмирившего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенек. Это был человек сытенький, румянький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пытел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчик вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к носу платок, который держал, за один кончик, в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

- Вот-с тот мальчик-с, - сказал он, указав на рыженького, - о котором я имел честь просить...

- А? - отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

- Сын гувернантки детей моих, - продолжал хозяин просительным тоном, бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

- Ах, нет, нет, - поспешно закричал Юлиан Мастакович, - нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся; вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль...

- Жаль-с, - повторил хозяин, - мальчик скромненький, тихонький...

- Шалун большой, как я замечаю, - отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, - пошел, мальчик, что ты стоишь, пойдя к своим сверстникам! - сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостью качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которой, десять минут назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался изливию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтоб не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством; слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличие требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умиленных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мастаковичу.

- Женат этот господин? - спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд.

- Нет! - отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостью, которую я сделал умышленно...

Недавно я проходил мимо \*\*\*ской церкви; толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморось; я пробрался за толпой в церковь и увидел жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное, неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не видел ровно пять лет. Я поглядел на нее... Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого... и на сколько-то тряпками...

"Однако расчет был хорош!" - подумал я, протеснившись на улицу...

-----Впервые опубликовано: "Отечественные записки", сентябрь 1848 г. -----

con amore - с любовью (итал.).

non plus ultra - до крайних пределов (лат.).

Александр Грин

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

I

Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам, единственно, интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума, - три художественные натуры, - три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому, что видели одну шелуху.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалов шампанского и арией "Жоселена", произвела могучее

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэйль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал думать о Стелле и застрелился.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке из дыма крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе "Конго" выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлямы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль.

## II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорил и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув головой, посмотрел на сухое, уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они знали его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, - с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.

- Это он, - сказал Консейль.
- Человек из тумана, - ввернул Гарт.
- В тумане, - поправил Вебер.
- В поисках таинственного угла.
- Или четвертого измерения.
- Нет; это искатель редкостей, - заявил Гарт.
- Что говорил он тогда о лесах? - спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

- Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.
- Положим, - сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, - положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: "В лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего, неизвестного впечатления - некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно." И если бы он знал, как разыскать этот

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru)  
зенит, – он бы пошел туда.

– Вот странное настроение в Кордон-Брюне, – заметил Консейль, – и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.

– Каким образом?

– Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно устойчиво. От вас требуется лишь говорить "да" на всякий всякий вопросительный взгляд со стороны материала.

– Хорошо, – сказали Вебер и Гарт.

– Ба! – немедленно воскликнул Консейль. – Стиль! Садитесь к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.

### III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

– Ленивец, – сказал Консейль, – вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

– Давно уже, – спокойно ответил Стиль, – но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка, прииск мне нравился.

– А теперь?

– Я – новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему меня потянет внутри.

– Особый склад вашей природы я заметил по прошлому нашему разговору, сказал Консейль. – Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща, в роскошной полутьме своей, неожиданно пересекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности. Больше заброшенности среди почти недоступных недр, конечно, трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни – охота; единственно охотой промышляли они, сплавливая добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как обустроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, – он не более как вспышка магния среди развалин, – поймано и ушло, быть может, самое существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись петь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева – маленькая рука, махающая с балкона, впереди солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

- Я вижу все это, - просто сказал он, - это огромно. Не правда ли?

- Да, - сказал Вебер, - да.

- Да, - подтвердил Гарт.

- Нет слов выразить, что чувствуешь, - задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, - но как я был прав! Где живет Пелегрин?

- О, он выехал с караваном в Ого.

Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

- Как называлось то место? - спросил он. - как его нашел Пелегрин?

- Сердце Пустыни, - сказал Консейль. - Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

- О, нет.

- Еще подробность, - сказал Вебер, покусывая губы, - Пелегрин упомянул о трамплине, - одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

- Скат переходит в плато? - Стиль переворачивался всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: "Куда торопишься, красotka, еще ведь солнце не взошло..." Однако ничего не случилось.

Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает, - то был человек сложных движений.

- Откуда, - спросил Консейль Вебера, - откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности?

- Отчет экспедиции Пена. И моя память.

- Так. Ну, что же теперь?

- Это уж его дело, - сказал, смеясь, Вебер, - но поскольку я знаю людей... Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль.

- Я вернулся, но не войду, - быстро сказал он. - Я прочел порт на корме яхты. Консейль - Мельбурн, а еще...

- Флаг-стрит, 2, - так же ответил Консейль - И...

- Все, благодарю.

Стиль исчез.

- Это, пожалуй, выйдет, - хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. - И он найдет вас.

- Что?

- Такие не прощают.

- Ба, - кивнул Консейль. - Жизнь коротка. А свет - велик.

#### IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный л<sup>т</sup>; но, наконец, и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознавать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.

- Я принимаю, - сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканий неприятности своего положения живительное и острое любопытство. - Пусть войдет Стиль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажень огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

- Кордон-Брюн, - любезно сказал Консейль. - Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, - я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навеивает тайны вселенной.

- Да, - Стиль улыбался. - Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

- Я виноват, - сухо сказал Консейль, - но мои слова - мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.

Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

- Да нет же, - вскричал он, - не то! Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогające сердце, подобно хорошей песне. Меня называли чудачком - все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод... и жажда... один. Десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня - смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел по'том и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, - есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, - только звенит...

- Дальше, - тихо сказал Консейль.

- Нужно было, чтобы он был там, - кротко продолжал Стиль. - Поэтому я спустился на плоту к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть

Повести и рассказы. Федор Михайлович Достоевский [dostoevskiyfyodor.ru](http://dostoevskiyfyodor.ru) такой я, – это понятно. Так вот, поедemте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли.

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.

– Вы – турбина, – сдавленно сказал он, – Вы знаете, что вы – турбина. Это не оскорбление.

– Когда ясно видишь что-нибудь... – начал Стель.

– Я долго спал, – перебил его сурово Консейль. – Значит... Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?

– Советую, – сказал Стель.

– Но его не было. Не было.

– Был. – Стель поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. – Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чашей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины. Стель улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.  
1923

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!